НОВАЯ РОССИЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ и НАУЧНЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 1

ПЕТРОГРАД

1922

Содержание:

Дискуссионная кафедра.

Литература и современность.

Из эмигрантской печати.

Библиография.

„НОВАЯ РОССИЯ“

ОБЩЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ и НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ.

Выходит ежемесячно в Петрограде.

В ближайшее время редакция может рассчитывать на сотрудничество следующих лиц: проф. **С. А. Адрианова, С. Я. Арефина, Ник. Ашешова, Д. Выгодского, Э. Голлербаха, Е. Д. Зозули,** проф. **А. И. Иванова,** инж. **Ивановского, Н. И. Иорданского,** д-ра **Лили Каит** (Берлин), проф. **Ю. В. Ключникова** (Париж), **М. И. Кричевского, Мих. Левидова** (Лондон), **И. Лежнева, Вл. Ленского, Як. Лившица,** проф. **С. С. Лукьянова** (Париж), **В. В. Муйжеля, И. Накатова, К. Спасского, В. Г. Тана** (Богораза), проф. **Ю. И. Фаусек** и друг.

Редакция и главная контора—Петроград, Невский пр., 5, кв. 10.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ и ОБ'ЯВЛЕНИЙ.

Цена отдельного номера в розничной продаже—75 коп. золотом.

Издание Л. Д. ФРЕНКЕЛЯ.

Р. Ц. № 194. 4-я Гос. типография, Фонтанка, 57. 6.000 экз.

НОВАЯ РОССИЯ

Общественно-литературный и научный ежемесячный журнал.

Адрес редакции и конторы: Петроград, Невский просп., 5, кв. 10. Прием по делам редакции — по средам и субботам с 12 до 2 час. дня.

№ 1 Март 1922 г.

* * *

После четырех лет гробового молчания ныне выходит в свет первый беспартийный публицистический орган. Каково же наше первое слово? Не вздох о давнопрошедших дореволюционных «добрых временах»; эти черные дни канули безвозвратно, — о них ли станем скорбеть? Не стон о близком недавнем, не старческие жалобы на тяжкую, мучительную страду суровых революционных дней, ибо что проку в малодушии этом?

Наш взор обращен в будущее. В бурном плавании по безбрежному океану революционной стихии пристальные взоры прикованы к горизонту и сквозь мглу и хаос прозревают уже мыс Надежды, угадывают его смутные очертания.

В двойном свете рисуется нам грядущая новая Россия в свете ясного исторического прозрения и в свете напряженной воли к бытию. Мы пытливо и вдумчиво изучаем революционный процесс в его своеобразном российском преломлении, в его теснейшем сочетании с мировым сдвигом — и с осязательной четкостью прощупываем его истоки, которые ведут к возрождению и новому расцвету. Но историческое созерцание восполняется волевым устремлением. Новая Россия придет, должна прийти, не может не прийти, ибо мы верим в ее пришествие, должны веровать напряженно и действенно. Пришла ли бы революция без действенной веры нашей передовой интеллигенции, совершилась ли бы она без слепой и фанатически-религиозной веры широких народных масс? Вера двигает горами. Вера проходит сокрушительным смерчем крестовых походов и революционных войн. Вера рушит и вера же восстанавливает. Хозяйственного и культур-

ного послереволюционного возрождения России нам не достигнуть без этой напряженной и действенной веры, без великого единодушного коллективного порыва,—того национально-строительного волевого порыва, который уже сейчас позволил экономически возродиться Германии.

Двойной стереоскопический отпечаток новой России—через прозрение и через волевое устремление—сливается в единый образ России грядущей, духовно пред нами уже явленной. И первейшей своей задачей «Новая Россия» ставит дать проекцию новой России в литературном воплощении.

Построение новой России должно совершиться на определенной основе и определенными силами. Основа эта не может быть иной, как революционная. Свершилась великая революция, выкорчевала старые гнилые балки и, полуразрушив верхний фасад дома, подвела под него железо-бетонный фундамент. Дом выглядит сейчас неприглядно, но просмотреть новую могучую социально-государственную основу могут лишь слепцы. Строительство идет и пойдет на новых началах, но новых не абсолютно. В этой новизне—великая историческая преемственность. Здоровые корни нового сплетаются с здоровыми корнями прошлого. Лишь выдержавшие критическую проверку и искус революции элементы нового вступают в соединение с такими элементами старого, которые выдержали громовый натиск революции и в стержне своем не поддались, устояли. На синтезе революционной новизны с дореволюционной стариной строится и будет строиться новая пореволюционная Россия.

То же и в отношении строителей. Первые вешние и мутные революционные волны опрокинули прежде действовавшие силы и в том числе интеллигенцию. В ту пору революционной партизанщины страна кишела авантюристами и любителями поживы, горлопанами и демагогами, самодурами и персонажами трибуналов. Революционная страда явилась, однако, порой не только мобилизации, но и *квалификации* живых сил страны. В эпоху бури и натиска люди случайные, злоумышленные или бездарные успели обанкротиться, а люди деловые и одаренные—выдвинуться. Так произошла переоценка всего живого инвентаря революции и непрерывное его освежение. Как только дело начало устанавливаться прочно на рельсы строительства *чистые разрушители* были отметены, и им на смену начали приходить *чистые строители*. Весь людской мусор—партийный и беспартийный, в центре и на местах,—выбрасывался за борт революции, а иногда и за борт жизни. Куда девались партизаны конца 1917 и начала 1918 г.г.? Иные, как Муравьев, почили в бозе; иные—далеко. Зачем называть имена? Они у всех на языке. Обновился весь персонал революции. И по мере того, как первая грязная пена была сметена и жизнь начала входить в берега—к делу государствен-

ного, военного и культурного строительства стали привлекаться уцелевшие в революции живые силы прошлого, которые сочетались с достойными, здоровыми и новыми живыми силами, выдвинутыми из народных низин. Здесь тот-же синтез, то-же творческое сочетание интеллигенции и народа.

«Новая Россия» будет стремиться стать идейным органом этой интеллигенции, почерпающей силы от свежей и буйной народной целины. Для этой жизненно формирующейся новой общественности журнал будет формировать новую идеологию.

Да, новую. Ибо старая сгорела в огне революции, испепелилась, рассыпалась прахом. Не устояли ни старые идеологии, ни старые программы, ни старые партийные деления, ни старая тактика. Все были у власти и все обанкротились, ибо все доныне действовавшие общественные силы были повинны в грехе догматизма, оторванности от народа, от подлинной жизненной действительности. Надо подвергнуть решительному пересмотру все старые понятия, все идейные и этические предпосылки нашего интеллигентского миросозерцания, начиная от непротивления злу и кончая маккиавелизмом и террором недавних дней.

И пусть официальная печать на сей раз не изображает перелома в настроениях интеллигенции в тонах какой-то смехотворной каррикатуры. Это всё, изволите-ли видеть, кающиеся интеллигенты, порода ничтожных, покаянных и хныкающих душ, которые, наконец-то, к исходу пятого года революции, начали кой-что понимать, кое-как научились плести лапти, и вот теперь, отрезвевшие, покаянные, дураковатым елеем мазанные, пожаловали в нашу Каноссу. К счастью, это совсем не так. Процесс пересмотра и переоценки и глубже, и значительней, и сериозней. Мы исходим из мысли о всеобщем идеологическом провале,—всеобщем, значит, без из'ятий.

Очередная задача интеллигенции, а, следовательно, и нашего журнала, как его органа, должна быть—искание новой идеологии на смену старой. Это искание должно проходить под знаком непрерывного становления. Оно должно быть от начала до конца динамическим,—иначе оно погрязнет в тех же грехах, из которых так мучительно ищет сейчас выхода. Искание это должно также быть ответственно по настроению и однозначно по устремлению. Иначе оно грозит безликой мешаниной и российской идейной расхлябанностью. Оно должно иметь свои точки формирования. Мы их здесь и даем. Это—новая социально-государственная база, рожденная революцией, синтетическое сочетание исторического прозрения с творческим волевым устремлением, старого с новым, интеллигенции с народом.

Мы выпускаем первый, беспартийный общественный журнал. Тем ответственней его слово.

Третья Россия.

Не оживет, аще не умрет.

События развертываются с необычайной быстротой. Положение России меняется радикально. Вчера Ленин был главой шайки убийц, сегодня—он самый желанный собеседник для Ллойд-Джорджа. Какую еще более грандиозную смену декораций принесет завтрашний день?

Ряд ошеломляющих неожиданностей для тех, кто видел в русской Революции лишь кровавое поллитическое преступление. Но если не смешивать этической оценки с исторической, то события движутся вполне закономерно.

Понять эту закономерность—значит превратиться из раба истории в сознательную, хотя бы и безконечно малую частицу силы, историю творящей.

I.

К началу 1917 г. неизбежность революции сознавалась всем нашим образованным слоем, но его энергии и решимости не хватило даже на первый ее шаг,—на смену верховной власти.

Николая низвергла не организованная общественность, возглавляемая Государственной Думой, хотя бы в лице ее оппозиционного меньшинства, а рабочие без инженеров и солдаты без офицеров.

И после этого общественность, которой чуть не насильно всучили власть в руки, продолжала переминаться с ноги на ногу. Сначала готова была помириться на смене личности правителя да на конституционных гарантиях, откладывая все остальное в неопределенное будущее. Потом под давлением масс, отбросив свое правое крыло и введя в свой состав умеренные социалистические элементы, отважилась провозгласить республику. Потом еще в чем то «уступила».

Но—«troppo tardi, santo Padre», - слишком поздно, Святой Отец,— как отвечала революционная Италия на реформы либерального папы в 1848 г. Слишком поздно и слишком мало. Бурная волна революционной стихии неудержимо неслась вперед, оставляя незрячих и нерешительных далеко позади в безвоздушном пространстве. Не по плечу им было выполнить огромную очередную задачу истории. И вот опять выступили на первый план рабочие и солдаты, на сей раз уже решительно против инженеров и против офицеров.

И началась настоящая Революция. Только в октябре началась она.

* * *

Революция занялась прежде всего жестокой, черной частью своего дела,—стала выкорчевывать отжившее, загнившее.

Ее метод таков: лучше загубить десять невинных, чем пропустить одного виновного, лучше растоптать миллион ценностей, чем

оставить один вредный росток. И как безжалостно топтала она, и сколько растоптала нужного...

Для такого дела непригодна была наша интеллигенция, гуманная, умственно-аристократическая, слабовольная. На первый план выдвинулись люди противуположного психического склада. Эта то противуположность и отбросила подавляющее большинство нашего образованного слоя от революционных масс. Ведь не за банкира же и помещика, не за мясника и домовладельца заступался, в самом деле, рядовой русский интеллигент, идя на саботаж советской власти.

Разрыв был неизбежен, потому что революция всегда ребром ставит вопрос: или целиком со мною, или целиком против меня. Она резко раскалывает жизнь, и раскол идет тем глубже, чем глубже была предреволюционная болезнь.

Наша русская болезнь чуть не до костей раз'ела весь организм, потому и русская революция превзошла по своей разрушающей силе все ранее бывшие. Она не то что расколола, а прямо атомизировала жизнь, насквозь разложила ее органическую ткань до самого костяка. Никаких соединительных тканей, ничего промежуточного не могло уцелеть в раскаленной атмосфере революционного взрыва.

* *
*

Теперь мы присутствуем при несомненном падении температуры. Освобожденные от прежних сочетаний элементы начинают сближаться, вступать в новые соединения, складываться в новый организм.

Революционная власть, не отказываясь от своих конечных заданий, намечает для их выполнения такие практические пути, на коих неизбежно сотрудничество сил, доселе взаимно исключавших друг друга. Крепнет спрос на профессии и знания, на практические и даже бытовые навыки, которые еще вчера представлялись ненужными, даже вредными. Для образованного слоя начинают открываться возможности приложить свою энергию к привычным видам труда.

Параллельно с этим из состава господствующего слоя постепенно выпадают элементы, которые по своему внутреннему облику необходимы в первый период революции, но непригодны для зиждительной работы, и даже только тормозят ее ход. Точно также и в составе управляющего аппарата сокращаются органы специфической структуры и специфических методов действования, и наоборот выростают новые, более привычного типа. Перевернула история и ту страшную страницу, на которой кровью вписаны жуткие буквы Ч. К....

* *
*

Очень многие представляют себе, что революционная Россия «спускается» в ту самую долину, с которой поднялась четыре года тому назад. Набедокурили, дескать, нажглись,—и поневоле возвращаются к старому. Весьма упрощенное понимание.

Что революционная Россия спускается, это верно, но она успела уже перевалить через высокий кряж, и долина, лежащая перед ней, совсем не та, из которой она когда то двинулась в путь. Мы приходим в новое место, и устраиваться в нем придется тоже по новому, хотя, разумеется, многое из старой жизненной техники, в широчайшем смысле этого слова, очень и очень пригодится и в новой обстановке.

«Спускаются» не одни руководящие силы русской революции. Весьма значительная часть нашего образованного слоя, так или иначе, в силу ясного сознания хода вещей, или поневоле, но уже вступила на путь совместной работы с советским правительством.

Даже среди эмиграции происходят характерные сдвиги, и уже не со вчерашнего дня. Вряд ли стоит останавливаться на «Смене Вех».

Но не характерно ли, что единая к.-д. партия перестала существовать, что трезвый, хотя и всегда опаздывающий П. Н. Милюков отказался от ее большинства и занял некоторую промежуточную позицию. Так называемая «декларация четырех» (Петрункевича, Родичева, Астрова, гр. Паниной) обрушилась на него, как на оскорбителя «русской (Врангелевской!) армии», а белая пресса прямо высказала догадку, что он не прочь от портфеля в большевистском министерстве...

Но, конечно, П. Н. Милюков, как и другие представители интеллигенции, спускается не в ряды Р. К. П., равно как и Р. К. П. планирует не к белогвардейству.

Громче и властнее всяких программ звучит голос живой жизни, сложной, богатой, разнообразной, всемогущей. Она развивается по своей программе, еще не охваченной полностью человеческим сознанием, хотя и дает ему непрерывно жестокие, но содержательные уроки. Она перемалывает всех, и коммунистов, и антикоммунистов, и рядового обывателя по своему и делает свое дело, на которое заставляет работать все силы нации вместе.

Они далеко еще не примирены, да неизвестно, примирятся ли когда-нибудь окончательно. И надо ли это вообще? Ведь так называемый нормальный порядок отнюдь не упраздняет силы центробежной. Он только уравновешивает ее центростремительной. Пророчества о временах, когда лань ляжет возле льва, или—наоборот: все львы будут истреблены, – слишком похожи на убаюкивающие сказки. Ближе к правде то, что противоборствующие элементы вечно будут существовать рядом и состязаться между собой, подчиняясь, однако, велению верховного хозяина,—Жизни, которая устроила так, что противоборствующие друг без друга существовать не могут и принуждены в одной ограде работать над одним делом, хотя бы и непримиренные

II.

Здание новой русской государственности едва лишь закладывается. В глаза бросаются прежде всего груды всяческого мусора, в котором так много напоминаний о пережитых жутких днях и по которому так неудобно ходить еще и сегодня. Однако основной план постройки уже можно угадать.

Новая база государственности обозначилась уже с полной отчетливостью. Это—крестьянство, под неотступным давлением которого власть едва ли уже не десять месяцев все круче и круче поворачивает руль. Что бы ни говорили, а крестьянство за время революции необычайно окрепло. У него есть теперь земля, пища, деньги, масса всяких вещей, которые оно посбирало в разгромленных помещичьих усадьбах или исторгло за еду у голодного города. Ужасы, совершающиеся сейчас в гибнущем Заволжьи, с общей точки зрения все таки частность, эпизод, хотя и потрясающий. В целом же деревня выбилась на торную дорогу. Теперь ей только нужно, чтобы за ней закрепили ее приобретения и чтобы ей открыли пути для дальнейших приобретений.

На этой точке она стоит упрямо, неподвижно, чувствуя свою силу. Прямых лозунгов она не выставляет, к активным выступлениям не склонна, к власти не тянется. Она предпочитает действовать пассивно. Но приемом, который непобедимее всякой активности: она берет буквально измором, отказывая городу и государству в поддержке, если принимаются неугодные ей меры. Своей цены не назначает и ждет, чтобы власть сама предложила ей подходящую цену. Но когда эта цена будет дана, государство получит в деревне неисчерпаемый источник силы. Все это, конечно, далеко от коммунизма, но совсем не похоже и на до-революционное положение даревни, нищей

и беззащитной. Не надо однако закрывать глаза на то, что сила, выростающая в деревне, сейчас по всему своему складу антикультурна, узко-эгоистична, политически и экономически реакционна и перевоспитается далеко не сразу.

Противовесом ей должен послужить городской пролетариат, как элемент более восприимчивый к культуре. Он теперь в состоянии крайнего истощения, уменьшившись численно и выбитый из колеи развалом производства. Но это явление временное. Устройство деревни на новых основаниях несомненно выбросит из нее в город огромное количество пролетаризованного элемента, а предстоящее воссоздание промышленности даст ему работу.

Республику вынесет на своих плечах мелко-землевладельческое крестьянство и промышленная рабочая масса, которым придется действовать бок-о-бок, несмотря на противуположность их психического уклада и на расхождение их ближайших интересов. В борьбе против старого режима они уже действовали вместе, и потому победоносно. Но при устройстве нового порядка сразу столковаться не могли. Только ряд тяжелых поражений на экономическом фронте заставил искать той линии, на которой силы сцепления могут взять верх над силами отталкивания и прочно связать обе группы. Только получив крепкую двуединую базу, государство станет твердо, как на двух ногах.

* * *

Революция разорила до тла весь аппарат промышленности, не только крупной. Теперь расторгнутые элементы ее стремятся вновь к сближению, как в области быта, так и в сфере высшей политики. Государство, прошедшее через опыт коммунизма, и мировой капитал начинают двигаться на встречу друг другу, повинуясь всевластному велению жизни, его же не прейдеши.

Намечается какой-то совершенно своеобразный симбиоз двух сил, не имеющий прецедентов в истории.

Предполагается, повидимому, образовать единый мощный международный синдикат, который получит монополию на экономическое восстановление России. Но и государство останется рядом с ним хозяином ряда крупных предприятий и даже целых отраслей производства. Как сложатся отношения между этими двумя хозяевами, что получится в итоге в области политической и социальной,—гадать рано, ибо мы присутсвуем едва при зарождении нового, никогда еще небывалого, грандиозного опыта. Напряженнейшее состязание между ними неизбежно. Но, сохраняя за собой хозяйственные функции и имея дело с единым синдикатом, а не с раздробленной массой индивидуальных предпринимателей, государство получит серьезные возможности регулировать всю промышленную жизнь с точки зрения государственного интереса и планомерности.

В итоге получится не коммунизм, и не возрождение старого типа промышленности, а какая-то совершенно новая экономическая формула.

* * *

И в отношении состава государства Революция сделала свое дело, раздробив Империю, разорвав связи Великороссии со всеми невеликорусскими элементами.

Однако процесс распыления и тут сменяется уже процессом стягивания воедино, хотя и на совсем новых основаниях. Часть отколовшихся областей уже вернулась в состав единой Федеративной Республики, побуждаемая к тому вскрытыми революцией, проверенными ею и доведенными до сознания, реальными связями, экономиче-

скими и культурными. Другие новообразования, под влиянием той же причины, вступили с Федеративной Республикой в теснейший союз, перейдя к советскому устройству. Правда, что третьи сохраняют свою самостоятельность, занимая даже более или менее враждебную позицию по отношению к Российской Республике. Но такое положение не представляется устойчивым. Процесс стягивания еще не завершился.

Во избежание всяческих недоразумений, необходимо категорически подчеркнуть, что при новом укладе российской государственности не может быть и речи о насильственном подчинении самоопределившихся народов. Наоборот, уже обнаружилась, правда, в весьма еще несовершенных формах, тенденция к развитию широкой автономности даже и тех народностей, которые остаются в составе Республики, и эта тенденция должна стать одним из крепчайших устоев нашего государственного здания. Но когда это здание, в связи с предстоящим экономическим расцветом страны, найдет свой окончательный план и жизнеспособные формы, то некоторым, по крайней мере, из окраинных новобразований неизбежно придется, в собственных интересах искать теснейшего экономического и политического сближения с Республикой, чтобы не осудить себя на захолустное экономическое положение, которое слишком больно било бы по благосостоянию их граждан.

Процесс идет, следовательно, в сторону обрастания Федерации союзными республиками, и таким путем вырабатывается совершенно новая государственная структура России, новая форма безболезненного и взаимно выгодного сожительства народностей.

* * *

И с государственной властью революция распорядилась свойственным ей методом: переломала вдребезги весь административный аппарат сверху до низу, распылила власть на атомы и стала строить все с самого начала сама.

На каком фундаменте?

Революция взбудоражила до дна несметные темные низы, и в городе, и в деревне, воззвала их к политическому и гражданскому сознанию. Это не может пройти даром. Впредь государственной власти уже не построить на подавлении воли масс, на возвращении народа к нерассуждающей покорности. Деревня уже доказала, что это так. Теперь власти придется почерпать свою силу в росте гражданственности масс, опираться на их активное участие в государственном строительстве. Этому условию не удовлетворят обветшавшие формы западного конституционализма.

Вера в конституционализм у нас и всегда была довольно поверхностной. Его спасительную силу отрицали все наши самобытные и смелые умы, вплоть до автора «Бесов», который характеризовал, например, французскую республику, как откровенную организацию имущих для наложения тяжкой десницы на неимущих, и предсказывал неизбежность падения ее под ударами обездоленных масс, потерявших терпение. Советы и провозгласили своей задачей найти такую организацию власти, которая бы ставила во главу угла государственной деятельности интересы огромной массы неимущих и малоимущих. Задача, которая всегда казалась подобной квадратуре круга. Насколько удастся нам приблизиться к ее решению,—покажет будущее.

Революция далее подвергла строгому практическому испытанию всех претендентов на власть и признала пригодной только небольшую, но железно сорганизованную, группу большевиков. Им она и передала, так сказать, исполнительную власть, с очень широкими полномочиями, но верховную руководящую роль оставила все-таки за собой, подчиняя их волю своим заданиям. Вначале она заставила ядро партии допустить больше разрушения и «национализации», чем оно

хотело. Теперь заставляет его строить далеко не в том духе, как оно предполагало. Революция выше партии, и партия, в рядах которой не мало недальновидных и недоброкачественных элементов, потому только держится у власти, что ее верхи готовы пересматривать свою программу и тактику и перестраивать ее сообразно с велениями Революции.

Идя этим путем, власть постепенно, хотя трудно и не во всех областях равномерно, но перерождается из партийной, сектантски-кружковой в государственную. Она не боится уже заявить во всеуслышание, что для нее иной беспартийный спец, сведущий и добросовестный, дороже, чем десяток представителей «коммунистического чванства». Правда, от декларации до реализации—дистанция почтенного размера. Но так как задачи, выдвинутые на очередь жизнью и принятые властью в программу, могут быть разрешены только на почве выполнения этой декларации, то она, конечно, и будет все более и более воплощаться в реальность, а вместе с тем и власть будет крепнуть, обогощаться рабочими силами, пускать корни в толщу национальной жизни. Это поняли, наконец, на Западе и приглашением на Генуэзскую конференцию признали фактически, что новая Россия уже родилась, и что у ней есть жизнью утвержденная государственная власть, имеющая право говорить от лица народа и принимать за него обязательства.

* * *

Понять это—вовсе не значит возлюбить советскую власть и воспевать ей дифирамбы. Верноподданнические чувства и овечья покорность—такой же непригодный материал для новой России, как и безответственная контр-революционная болтовня.

У всякой власти прорех достаточно, а у нашей- наипаче. За краткое время своего существования она наделала не мало ошибок. Действия ее аппарата часто поражают своей неосведомленностью и неумелостью. Канцелярии и управления кишат людьми недобросовестными и подкупными. Мириться со всем этим невозможно и с государственной точки зрения- преступно. Но всетаки у новой власти есть здоровый стержень. И все-таки ничего, кроме нее, не сумело выдвинуть страна, расквитавшись со старым режимом. Ее вопиющие минусы—показатель некультурности страны. До известной степени ослабить их может только широкое привлечение культурного элемента в административный аппарат, введение независимого суда и гласность. Подорвет же их в корень только изживание финансово-экономической разрухи и народной темноты.

Создание суда уже стоит в очереди дня.

В недалеком будущем естественный ход жизни и государственная необходимость заставят снять и путы с гласности. После Генуи преодоление хозяйственной разрухи имеет шансы быстрее двинуться вперед, чем обыкновенно полагает терроризированное прошлым обывательское сознание. Медленнее всего будет изживаться наша великая некультурность. Тут уж никакими займами и никакими декретами не поможешь. Культура накопляется лишь долгим и упорным трудом из поколения в поколение. Росту ее при старом режиме мешала тенденция, нашедшая наиболее типичное выражение в циркуляре о «кухаркиных детях» и в том, что профессионалу-педагогу предпочитался верноподданный диакон. Революция,—если и отличает кухаркиных детей, то только для того, чтобы дать им предпочтение перед барскими. Она не щадила усилий, чтобы влить просвещение в широкие массы Дело могло-бы идти, но его нормальному развитию мешает преувеличенная вера в полезность коммунистического дьякона.

* * *

Итак, из бурных волн океана уже поднимается материк новой государственности.

Но это не ликвидация революции, а продолжение и завершение ее, единой и неделимой в обеих функциях: разрушающей и созидающей. Революционным методом выковывается новый государственный организм, который по самой обстановке своего нарождения, должен отличаться особым богатством энергии, выносливостью, жизненной приспособленностью. Это действительно новый организм. По сравнению с Империей, он получает иную социальную базу, иную экономическую и государственную структуру, иную природу власти.

Идет Россия, не коммунистическая и не белогвардейская, а подлинная Россия третьего периода, которая уже более ста лет искала своих путей, но постоянно наталкивалась на глухую стену старого режима. Теперь революция взорвала эту стену, и дорога открыта.

Перед подобной стеной стояла три века тому назад нарождавшаяся Россия второго периода и взорвала ее смутой, принесшей не меньше крови и разрушения, чем Революция. Но только пройдя через «великую разруху», великорусское московское царство смогло превратиться во Всероссийскую империю. Теперь Империя перерождается в некоторое сверхнациональное об'единение. Это и есть та долина, куда перевалила теперь русская жизнь, и куда спускаются разрозненные было Революцией и перевоспитавшиеся в ее огне элементы нации.

III.

Проект генуэзской конференции есть исторический факт, значение коего нельзя преувеличить, как бы высоко мы его не оценили.

Революционная Россия выходит из изолированного положения, вступает в мировой оборот не только экономический, но и политический.

Это значит прежде всего, что революционный метод врачевания глубоких кризисов доказал свою целесообразность. Он сначала отпугнул всех беспощадностью, расточительностью. Создалось впечатление, что это не врачевание, а убийство, что лучше какие угодно болезни, только бы не революция. И вот теперь придется признать, что пошедший на революцию народ не только не погиб, но в конечном итоге—выиграл.

Вопреки скептическим пророчествам, наши представители на Генуэзской конференции будут договариваться с другими, как равные с равными, а при благоприятном обороте событий, могут оказаться даже в более выигрышной позиции.

«Manchester Guardian» в одном из последних дошедших до нас номеров прямо заявляет, что Франция может и не участвовать в Генуэзской конференции—Россия все равно будет признана отдельными державами (т. е. в первую голову—Англией). Пуанкарэ может разрушить единение союзников, затруднить разрешение европейского хозяйственного кризиса. Но, с Францией или без Франции, а откладывать дело далее невозможно. Англия задыхается от дешевого немецкого товара, надо открыть для него русский рынок, во что бы то ни стало.

Примириться с Россией необходимо для восстановления правильного экономического кровообращения Европы и если для чьих-то политических планов это представляется роковым, тем хуже для этих планов. Даже срыв конференции ничего бы не изменил по существу: несколько позже, понеся лишние утраты, в другом месте, но все равно пришлось бы вернуться к тому же самому. В этом—твердая точка опоры для русской дипломатии.

С другой стороны, в воздухе пахнет новой страшной войной. Довольно неприкрыто подготовляются новые комбинации держав. Лихорадочно стараются запастись союзниками для предстоящего кровавого конфликта. Россия сама по себе во всем этом нисколько не заинтересована. Ей не надо завоевывать ни новых территорий, ни новых рынков. Но все понимают, какое огромное значение будет иметь ее позиция и готовы много дать, лишь бы обезпечить, если уже не союз ее, то, по крайней мере, нейтралитет. На этой почве и основной для нас вопрос—экономический—может получить гораздо более благоприятное разрешение, чем кажется на первый взгляд. Несомненно, что свою роль сыграют и связи Москвы с движением европейского пролетариата и с национальными движениями азиатских народов.

* * *

В староверских лагерях одни делают из зарубежных связей Третьего Интернационала предмет для насмешек, считая их ничтожными, купленными, чем то вроде картонной декорации. Другие, наоборот, нападают на них, как на недопустимую демагогию, и страшатся их взрывчатой силы.

Вторые умнее первых. Кремлевская «демагогия»—страшное оружие, старое, испытанное. В основе ее лежит верное историческое чутье, которое подсказывает непогрешительно, за какими элементами жизни будущее, и какие, несмотря на их сегодняшний блеск, уже осуждены. Кто обладает этим чутьем, ставит свои задачи в полном согласии с ходом исторической эволюции, и потому всегда и непременно в конце концов побеждает, ибо на него работает само время, ему помогает каждый оборот колеса истории.

Таким чутьем искони обладала русская внешняя политика, и оно всегда и неизменно подсказывало ей необходимость объявлять себя защитницей социальных низов и угнетенных национальностей в соседних государствах. Поддерживая низы против аристократии в Новгороде, Москва разложила и в конце концов поглотила Новгородскую республику. Поддерживая украинцев и белоруссов против господствующей польской национальности, она разложила Речь Посполиту и овладела большей частью ее территории. Точно также действовала она по отношению к Турции и Австрии, но за последний век запуталась.

Здоровая русская власть, как и все здоровое русское, всегда сохраняла в своей основе что-то мужицкое. Но, освободив помещиков указом о вольности дворянской и оставив крестьян рабами, она допустила у себя дома образование привиллегированного аристократического верха, подпала под его безраздельное влияние и утратила «демагогическое» чутье. Она уже стала сомневаться, надо ли поддерживать греков, восставших против турецкой власти, и нашла возможным бить венгров, завоевавших себе свободу от австро-немецкого господства. Роль международного демагога она променяла на ремесло международного жандарма. А когда, под давлением более здоровых течений, она вырвала болгар из под ятаганов баши-бузуков, то устроила что-то вроде болгарской губернии, и надолго оттолкнула от себя «освобожденных братьев».

Теперь с аристократизацией власти у нас покончено, и «демагогическое» чутье возрождается с новой силой. Россия из жандарма опять превращается в агитатора и распространяет свою пропаганду по всему миру, придавая ей небывало радикальное содержание. Она опять попала в великое историческое русло.

Тут подход к пониманию всемирного значения русской Революции.

* * *

Как будто странно звучат такие речи теперь, когда мы находимся сами в таком убогом, неблагоустроенном состоянии, но ведь не лучше выглядела Россия, когда вступал на престол кандидат воровских казаков, первый Романов. И великий Петр оставил ее с переломанным административным аппаратом, истощенную хозяйственно, сбитую с толку идейно и психологически, даже язык русский варварски перекалечил. Необычайно живучий, выносливый организм, развивающийся какими-то скачками. Сегодня—на одре смертном, завтра—на вершине мощи. Пора это обсознать, понять, что и болезнь наших дней—не к смерти, а «да явится слава божия».

Да никто и не верит всерьез, чтобы Россия надолго была выведена из строя. Наоборот кто с опаской, кто с надеждой, ждут, что вот она встанет и выпрямится во весь рост. Все международные комбинации, которые устраиваются за время ее отсутствия, чувствуют себя неуверенно. Все это делается «пока», сметывается на живую нитку. Надо же как нибудь существовать, пока эта странная Россия каким то странным способом разгораживает свои внутренние дела.

Особенно это чувствуется на настроениях послевоенных и послереволюционных новообразований.

Вот несколько фактов.

Председатель литовского парламента, обсуждая литовско-польские отношения, говорит: „Лучше нам перенести польское нашествие и временно даже потерять свою самостоятельность, чем пойти на такое соглашение с Польшей, которого ожившая Россия нам никогда не простит".

Министр Юго-Славии считает величайшей ошибкой, что сербские солдаты помогали англичанам в Архангельске. Сербское ружье не должно стрелять в русского солдата, хотя бы и теперешнего. Сербский народ слишком связан с русским, и не в сербских интересах ссориться с новой Россией.

Болгарский публицист вздыхает о тяжком положении своей страны, ограбленной и окруженной злобой соседей. И нельзя ей надеяться ни на что лучшее, пока не вернется Россия.

Версальские закройщики кроили неумело, ни с экономической, ни со стратегической, ни даже с этнографической точки зрения. А их подзащитные и того хуже. Созданы нежизнеспособные формы, только провоцирующие на новые конфликты. Перестройка неизбежна. При версальском методе это ведет к новой крови. Революционная Россия выковывает новый метод, новые формы мирного сожительства народов, как сказано выше, и эти формы имеют все шансы перешагнуть за пределы бывшей империи, послужить толчком для перестройки всей системы международных отношений.

Полное раскрытие этого процесса на европейской и азиатской почве—дело далекого будущего. Но он несомненно будет развиваться. Единственно, что могло бы ему помешать, это какие нибудь отрыжки «великодержавства» с нашей стороны, рецидивы завоевательных и обрусительных тенденций. Но это совершенно не в духе новой России. Гнилое и самоубийственное оружие брошено безвозвратно. Теперь речь идет об образовании добровольных связей свободных народов с нашей федерацией,—связей, лишенных и тени внешней принудительности. Их росту будет способствовать сам собою всякий успех нашего внутреннего строительства.

* * *

Стены, воздвигаемые между народами взаимной ненавистью и приходским патриотизмом, должны уступить давлению правильно понятых выгод, проистекающих для широких масс вообще и для каждой

народности в частности от свободного и безпрепятственного общения, экономического и культурного. С этим знаменем великого братства народов выходит в мир новая Россия.

За это знамя, инстинктивно чуя его силу и будущность, хваталась и императорская Россия за последние сто лет своего существования. Но в ее руках братство превращалось в примученную Польшу, в возглавляемую Евлогиями и Бобринскими Галичину.

Но то же знамя воздвигали все лучшие и самые глубокие русские умы XIX-го века, без различия партий и индивидуальных уклонов,— и декабристы, и Пушкин, и славянофилы, и западники, в том числе и такой непримиримый враг великодержавия, как Герцен.

«Только сгруппировавшись в союз свободных и самобытных народов, славянский мир вступит, наконец, в истинно-историческое существование... Мы имели бы право считать Россию зерном кристаллизации... если бы петербургское правительство сколько-нибудь догадывалось о своем национальном призвании».

Мы отделались от петербургского правительства. На лицо и другое условие Герцена: найден основной элемент для постройки нового здания,—элемент, который «должен соответствовать революционной идее в Европе». Путь к всеславянскому союзу открыт. Более того, уже есть указания, что в этот союз могут войти и некоторые соседние народы Азии.

Одно предвидение Герцена уже оправдалось: «В нашей жизни в самом деле есть что-то безумное... Россия никогда не будет juste-milieu. Россия никогда не сделает революцию с целью отделаться от царя и заменить его царями-представителями, царями-судьями, царями-полицейскими». Мы в самом деле отважились на путь, перед которым содрогается парламентарная Европа, и который «идет, может быть, через развалины отцовского дома, через обломки минувших цивилизаций, через попранные богатства новейшего образования».

Человек, умевший так пророчествовать, очевидно обладал глубоким пониманием путей исторического развития. На этих путях он, согласно со многими другими, прозревал великий сверхнациональный союз, ядром которого явится Россия, преображенная в огне революции. Последующий ход событий, и особенно события современные позволяют опереть это прозрение на ряд новых фактов.

Россия на наших глазах, пройдя через крайнюю степень дезорганизации, разбудила в своих глубинах необычайно мощные организующие силы, которые непременно вызовут встречный отклик далеко за ее пределами. И раздробленное начнет стягиваться воедино.

* * *

Что это? Третий Рим, или Третий Интернационал? Ни то и ни другое. Третья Россия. Какое имя соизволит она на себя возложить— никто еще не знает. Но имя это будет знаменовать новый этап в *бесконечном* пути человечества к всемирному об'единению.

С. Адрианов.

Великий синтез.

1.

Революция завершает свой первый круг. Она вновь возвращается к бескровным истокам своим; вновь обретает мировое и общенациональное признание.

И мысль невольно возвращается к первозданному хаосу революции, к ясным мартовским дням, когда в самых сокровенных недрах общенационального единения таились уже ядовитые семена борьбы и крови.

Как наивны мы были в те дни! Каким чудесно раздвинутым, светлым и трогательным казался горизонт! И какой коварной оказалась безоблачность. История прибегла к хитрости военной маскировки. Зловещие тучи были вдвойне зловещи, потому что были замаскированы в радостные тона прозрачной лазури. А когда разразилась гроза, мы ее не приняли ни в серьез и ни надолго. Что это,—поножевщина, пугачевщина? Пьяный бред, злое наваждение? Нет, суровой и жестокой и великой реальностью оказалась гроза. А прекраснодушной иллюзией—обще-национальное единение и под'ем.

Урок прошел не даром. Военная маскировка истории уже никого не обманет. Наивная близорукость незрелых лет миновала. Под покровом внешнего единения мы научились прощупывать противоборствующие устремления.

Сейчас в отношении России историей поставлены две задачи: 1) всеобщее политическое признание и 2) свободное восстановление экономических связей. Для выполнения этих задач ходом событий мобилизованы и поставлены в один ряд, плечо к плечу, те персонажи революции и гражданской войны, которые вчера еще полосовали друг друга мечами на бранном поле. Здесь и коммунистическая власть, и возрождающаяся ныне отечественная буржуазия, и великие державы.

Все эти три главных действующих силы формально ратуют за одно и то же. Им всем необходимо включение России в международный оборот, а, следовательно,—и ее политическое признание; им всем необходимо свободное восстановление экономических связей. Но как разно понимают они эти исторически-очередные задачи! Какие противоположные преследуют цели!

Для коммунистической идеологии признанная Россия, это—форпост Интернационала, для отечественной буржуазии, это—предтеча России суверенной и великодержавной, а для великих держав, это—преддверие России колониальной.

Так же обстоит дело и с новым экономическим курсом.

Великие державы во главе со своим вождем Ллойд-Джорджем после провала интервенции меняют прежнюю тактику; все надежды свои полагают на деформацию и изживание революции а заодно с ней и экономической независимости России в тех новых условиях,

которые будут созданы притоком иностранного капитала. Отечественная буржуазия, следуя примеру недавних друзей по интервенционному блоку, тоже отказывается от тактики лобового удара, ставит ставку на новый экономический курс и приветствует «спуск на тормазах», надеясь на перерождение и преодоление коммунизма в интересах возрождающегося из пепла российского капитализма. Наконец, коммунистическая власть от тактики прямого удара отказывается со своей стороны; переходит к маневрированию, к «отступлению для наступления» в надежде «на рынке рынок преодолеть» и достигнуть победы не механической, а органической.

Мы видим формальную общность задач, усугубленную общностью методов—наряду с крайней противоположностью надежд и целей.

В этой борьбе, которая, по парадоксальному свойству наших дней, принимает характер сотрудничества, борются не только три политико-экономические силы, но и три идеологии, три воззрения. Каждая из них имеет где то перед собой свой устойчивый трамплин, свой Коран, свои «Вехи», и от этого трамплина скачет. В своем полете они повинуются непреодолимым и могучим, как силы природы, законам национального и исторически социального тяготения. Но, повиснув в той точке пространства, куда их эти силы бросили, они с религиозным суеверием проводят воображаемую линию к своему трамплину, и в этом обретают свое утешение.

— Это *наша* идеология, *наше* сознание и *наша* воля привели нас сюда, а не слепые силы исторического процесса. Наша нынешняя позиция, наша тактика определяется нашим же общим воззрением. «Если сейчас нельзя достигнуть цели прямым и непосредственным путем, мы ее достигнем путем посредственным, ибо мы стоим на единственно правильном пути», ибо «история работает на нас».

Можно подумать, что история взяла на себя специальный заказ по обслуживанию политических и социальных схем наших российских догматиков, одновременно и правых и левых.

Вот Н. Устрялов в полемике со Струве пишет:

«... Пусть конечные цели большевиков внутренне чужды идеям государственного и национального могущества. Но не в этом ли и заключается «божественная ирония» исторического разума, что силы, от века хотящие «зла», нередко вынуждаются «объективно» творить добро?» (Журн. «Смена вех» № 3).

А Н. Бухарин в полемике с коллективистами пишет:

«... Что тенденция в сторону возрождения и в сторону победы капитализма изнутри есть и что она даже «отчетлива»,—об этом нечего спорить: никто этого не отрицает... Однако, марксисту для постановки прогноза нужно как будто бы анализировать не одну, а все тенденции. Не так ли? Есть у нас тенденция к социализму? Мы полагаем, что *есть*. Мы полагаем, что эта тенденция будет *усиливаться*. Мы полагаем, что исторический итог будет выражаться в *победе* этой последней в процессе борьбы“ («Правда» № 281).

Итак, Н. Бухарин тоже надеется, что «силы, от века хотящие зла» (буржуазия, торговля) «нередко вынуждаются «объективно» творить добро» (социализм).

На одного коня ставят и Устрялов и Бухарин. На одного коня ставят все три противоборствующие силы. Куда же конь примчит? К какому финишу? К чьей победе?

Чтобы ответить на эти волнующие вопросы, необходимо обратиться к первому, ныне завершаемому кругу революции. В мартовские дни в защитном цвете предстал пред нами, но своевременно не был вскрыт и осмыслен другой комплекс противоборствующих начал: леность и труд, разрушение и созидание, война и мир, Национал и

Интернационал, народ и интеллигенция, город и деревня, диктатура и свобода.

Как же были разрешены эти тяжкие противоречия на протяжении первых пяти лет великой революционной борьбы и всенародного страстотерпства? Какое из этих начал победило? Какое себя в жизни утвердило?

2.

Труд и леность... Нет предрассудка, более вздорного, как тот, будто революционная Россия культивировала леность, будто единственная социальная свобода, какую несет с собой революция, это — свобода безделия. Довольно истерических выклианкий о семячках. Их лузгали при Керенском и перестали лузгать после Октября. Дезертиры превратились в бойцов, а бездельники в тружеников.

Плохо в советском доме было не то, будто на его очаге не возгоралось топливо труда и энергии. Плохо было то, что очаг обогревал улицу, что через прорехи и щели все тепло вытягивалось вон и пропадало бесплодно. *Не безделие, а бесплодие* труда напряженного и кровавого было бичем революции.

Вначале было возглашено: «кто не работает, тот не ест». А это означало: кто не работает в советской канцелярии, тот получает паек на принудительных работах. И все начали «работать». Городская Россия превратилась в сплошную советскую канцелярию. И пошла писать губерния... Центрозатор, бюрократизм, волокита...

Все подвергалось «учету», кроме непроизводительности труда, бесплодности усилий, работы в пустоте.

В часы так называемого «досуга» шла иная работа: Субботники. Домкомбеды. Уплотнение и утепление жилищ. Дымящиеся «буржуйки» и «времянки». Очистка снега. Первобытная звериная борьба с голодом и холодом в одиночку, вразброд, каждый для себя и в своей берлоге. Сюда стаскивали всякую нищенскию рухлядь: полено дров, мерзлый картофель и гнилую воблу. Здесь пилили, кололи, топили, варили, стирали, тащили ведрами воду и нечистоты, согревались от работы и среди холода и дыма, с пустым желудком, с натруженной от нераздеванного за целый день пальто спиною, засыпали от усталости, чтобы на следующий день начать все сначала, пока истощение и болезнь не пригвоздят к холодной постели.

Всеобщий чиновничий стаж, всеобщее военное обучение, всеобщее пешее хождение, всеобщее стояние в хвостах очередей, всеобщее, но не прямое, часто тайное и отнюдь не равное пайкотаскательство,—всеобщее народное бедствие, связавшее всех единой круговой порукой. Как забыть все это!

Труд вращался в порочном кругу. Одни трудились над созданием искусственных барьеров, рогаток, заградилок. Другие трудились над преодолением этих барьеров. А в целом это было запиранием для отпирания, великим толчением воды в ступе, сплошным изводом трудовой энергии. Одно спасение, что извод этот, в конце концов, оказался и заводом.

В конце 19-го и начале 20-го года гражданская война была почти изжита, и властью на очередь был поставлен вопрос о хозяйственном возрождении и о труде, труде, труде...

VII с'езд советов был с'ездом почти исключительно трудовых разговоров. Троцкий предлагал новое партийное деление на «торфистов» и «сланцистов» и в пылу полемики даже бросил: «Но ведь лудить умывальник—важная революционная задача!».

Какие же трудовые методы были продиктованы стране революционной властью? Ленин в своей речи определял их так: «Наша задача в том, чтобы весь опыт, который мы приобрели в военном деле, на-

править теперь на основные вопросы мирного строительства». Наиболее ревностным и последовательным продолжателем этой идеи явился Троцкий. Как вождь красной армии, он был, естественно, более других склонен проецировать военные методы в сторону экономического возрождения и уже с энтузиазмом говорил о необходимости «перемотать с военной катушки на мирную»

Кончилось дело, как известно, переформированием красноармейских частей в трудармейские, вызвавшее острую и едкую полемику в коммунистических же рядах. Рыков, а за ним и Рязанов метнули крылатые словечки: «аракчеевщина», «мозги набекрень».

И уже весною 1921 г. пришлось так называемый «освобожденный труд» освободить из колодок централизма и государственного принуждения, снять бюрократический нарост, душивший паразитизмом своим и народно-хозяйственную жизнь и самое советскую государственность. Освободившись от армии содержанцев и иждивенцев и доведя административный аппарат до более или менее нормальных пределов, революционная власть вынуждена была придти к системе поощрения частной инициативы и к правильной стимулизации труда.

Ровно через два года после VII с'езда советов в такой же зимний декабрьский вечер, в том же Большом московском театре мы слышали речь того же вождя российской революции, с той же освещенной лампионами авансцены.

Ленин говорил: «Нельзя решать завтрашнюю задачу вчерашними приемами. То, что соответствовало в области политической и военной и дало там хорошие результаты, то не может быть автоматически перенесено в хозяйственную область. Иначе здесь скажутся наши недостатки, которые являются продолжением наших же достоинств... Учитесь у купца, представители коммунистической партии и профсоюзов! Не считайте эти методы для себя недостойными, потому что вы—пролетариат. Какой же вы пролетариат, если ваша промышленность стоит!»

Испытания революционной борьбы рассеяли немало фантомов социалистической догмы, которая во многом оказалась неприменимой в условиях нашей российской действительности или применимой не столь уж прямолинейно и логически последовательно. И несомненная историческая заслуга нашей революционной власти в том, что она не глуха к велениям жизни, что она сопричастна ее динамизму, что она не возглашает самоуверенно: «тем хуже для фактов», а стремится привести свою тактику в созвучие с этими фактами.

Да и для всех нас, российских граждан, пережитые испытания не остались бесследными. Не даром прошли мы сквозь строй перекрестных шомполов голода, холода, бесплодного пота и расточительной крови.

Слабые выбыли из жизни или, по крайней мере, из списков россиян. Остались более крепкие, жилистые, которые, пройдя мучительную школу лишений, научились ценить скупые дары трудов своих. И, по слову поэтессы Адалис:

Горелый хлеб по малу получая,
Мы привыкаем изучать любовно
И проверять его жестокий вкус.

Это приспособление к жестким и гнетущим жизненным условиям вызвало из тайников наружу какие то неведомые запасы подспудной энергии, принудило мобилизовать все физические и нравственные силы, дать максимальное напряжение воли, инициативы, предприимчивости и скромного героизма,—героизма тем более величавого, что он пронизывал серые будни.

В апатичном, полубезвольном и киселеобразном русском человеке пробудилась могучая сила и цепкость биологического приспособления. В нем заговорили отголоски веков—седые поляне, древляне и кривичи, неуёмная подпочвенная силища векового дуба.

В эти годы я положительно почувствовал густо концентрированную волевую ось в рядовом русском человеке и научился его уважать. Было трогательно, одновременно скорбно и отрадно наблюдать эту все-таки выравнивающуюся спину из под стопудовой тяжести всех бед и египетских казней.

Теперь революция из фазы созидания разрушительных сил, из фазы отрицательно-положительной вступила в период творческого накопления сил и средств. Целительный напор зарубцовывает раны; мускулы напрягаются трудовой энергией.

Для хозяйственного возрождения страны историей мобилизованы все наличные живые силы. Коммунистической власти пришлось вставить обратно выброшенную ею вон пружину личной инициативы. Рядовому обывателю пришлось, в свою очередь, перероситься и воспринять от революции ее волевой закал, ее бодрящую силу и молодую цельность.

Коммунистический Аракчеев сдал российскому Тит Титычу. Российский Тит Титыч сдал социалистическому Аракчееву.

Обе стороны могут произносить любые заклинания, таить любые надежды, но от повеления истории они уйти не могут. Работать рядом над выполнением обще-национальной и обще-народной задачи строительства они должны и будут.

3.

Разрушение и созидание. Война и мир. Национал и Интернационал.

Где берет свое начало положительная, созидательная работа революции? Элементы созидания возникли не в результате гражданской войны и не в исходе разрушительного периода революции, а как раз в самом начале этой гражданской войны, в связи со строительством красной армии. Элементы эти укоренены еще в самой сердцевине разрушительного периода, ибо революционная стихия даже в самом сокрушительном пафосе своем несет зерна созидания.

Разрушение жаждет быть целесообразным; разрушение требует организации разрушающих сил. В этом мефистофельская улыбка жизни над смертью. Небытия мы не знаем и не узнаем. Его нет. Есть лишь *инобытие*.

Накопление творческих органических сил происходило на противоположном полюсе всё того же разрушительного периода. Пока один полюс революционного элипсиса еще был раскален добела, на другом полюсе уже начали осаждаться прозрачные капельки охлажденного пара. Эмбрион созидания гнездился в самой утробе разрушения.

Всякая война есть отчасти революция и всякая революция должна быть отчасти войной. И если революция распустила старую армию во имя мира, то она должна была организовать новую армию во имя войны.

Первый созидательный почин относится к 1918 году, когда революция приступила к строительству регулярной армии. И уже тут надо отметить выдающуюся роль нашей интеллигенции, в частности—ее военных представителей.

Среди хаоса разрушения они взяли на себя тяжкий крест зачинателей созидания. Они строили армию, которую считали национальной русской армией,—русской по ее массовому национальному составу, русской по ее решающему материальному признаку. Будет ли она

красной, зеленой или белой,—об этом не думали и не хотели думать. Она будет раньше всего и во всяком случае русской,—этого с них было довольно.

Они совершенно отчетливо сознавали, что воссоздавать Россию по соображениям экономическим, политическим, военным и обще-государственным можно лишь из центра, а отнюдь не из периферии. Они полагали далее, что первым и главным условием независимого существования русского народа должна быть боеспособная армия, которая сегодня будет бороться ради одних целей, но завтра сумеет бороться ради целей других, подлинно национальных.

Светильник военной мощи не должен угасать ни на один день. Военный дух государства, его волевая и физическая мускулатура есть ценность самодовлеющая и абсолютная, в исторической перспективе нерушимая, а цели войны—лишь временные переменные функции, значимость которых необычайно относительна.

Но в данной исторической обстановке, в переживаемый после разгрома старой армии критический момент нет в России другой силы,—другой партии, другого общественного слоя, который сумел бы армию возродить и в обще-моральном распаде утвердить начала дисциплины, анархическую стихию преодолеть началами государственности, создать и поддержать новую армейскую психологию, новые демократические формы военно-бытового уклада на смену старым.

Пусть руки, разваливавшие армию, возродят ее вновь. Пусть большевики, подрывавшие авторитет военноначальников, этот авторитет восстанавливают. Пусть пока что работа идет под контролем архангелов—комиссаров, которые по букве сурового приказа владели правом жизни и смерти «военспеца», а по существу были ангелами хранителями военноначальников, которым работать в бушующей октябрьскими страстями молодой армии было совсем не безопасно.

Они видели и отчетливо сознавали, что во имя создания вооруженной силы коммунисты в то время совершали первый, а потому и самый трудный и мучительный «спуск на тормазах»: приглашали на самые ответственные революционные штабные посты бывших еще вчера вне закона представителей военной науки; от добровольчества начали переходить к принудительному способу комплектования армии, от партизанщины - к регулярным войскам, от строго классовой пролетарской мобилизации—к воинской повинности всеобщей, от кустарных методов организации и командования—к методам научным.

Уже в апреле 1919 г. эта точка зрения нашла свою яркую и законченную формулировку в дискуссионной статье профессора академии генерального штаба бывш. генерала В. Ф. Новицкого «О строительстве красной армии» (№ 3—4 журн. «Красный Офицер»).

В. Ф. Новицкий тогда впервые отмечал «спуск на тормазах», который совершала советская власть.

«В вопросе о создании красной армии,—писал он,—меня интересует та часто скрытая, во многом загадочная идейная эволюция, которая привела нас от разрушения старой армии к созданию новой, от проклятий, посылавшихся войне и милитаризму, к горячим призывам вновь взяться за оружие...

«Мы видим, что в области военных идей революция уже начинает поклоняться тому, что еще так недавно она проклинала; она уже вновь воздвигает те кумиры, которые еще так недавно были повергнуты ею в прах; и нам кажется, что, несколько обтесавши эти кумиры, соскобливши с них кое-где ржавчину, смахнувши местами осевшую на них пыль, мы получим новых богов. Но ведь это в самом деле все те же старые боги, олицетворяющие в себе некоторые вечные истины, некий круг военных идей, военных настроений, накопленных продолжительной военной деятельностью человечества, тот за-

колдованный круг, из которого никогда не выбиться уму человеческому...

«...Наша *красная армия ясно представляется мне в исторической* перспективе, как одно из звеньев неразрывной цепи творческих дел Русского Народа в области военных идей и военных стремлений... Старая армия уже более не возродится. Она умерла. Она безвозвратно погибла; но Россия не должна погибнуть, и она не погибнет, потому что велика еще военная мощь нашего народа, еще достаточно могуча энергия его для вооруженной борьбы с врагами».

А коммунисты? Они считали, что создающаяся армия есть раньше всего армия классовая, интернациональная.

В том же журнале «Красный Офицер» в августовском номере 1919 г. мы читаем в статье комиссара всеросс. главного штаба, наркомюста Курского: «Наша партия есть партия большинства. Это определяет положение и внеклассовых элементов, которые наша классовая армия включает в себя. Во первых, они могут играть лишь вспомогательную, подсобную роль. Во вторых, вся обстановка, в которой протекает их работа в условиях гражданской войны, заставляет их *путем психологического приспособления* все дальше и дальше отходить от своей прежней буржуазной идеологии и приближаться к пролетарской. Здесь делает свое дело время, которое в данном случае, как и во всех других, работает на нас. По мере перестройки экономических основ государственного быта внеклассовые элементы усваивают пролетарскую психику и переходят на нашу сторону. Надо думать, что лет через пять эта ассимиляция завершится окончательно».

Так писал в 1919 г. народный комиссар Курский. Он надеялся на психологическую ассимиляцию, на идейное перерождение буржуазных элементов армии, — в то время, как Новицкий отмечал идейное перерождение коммунистических элементов, фактически уже начавшееся и проходившее с большим успехом.

Новицкий в 1919 г. надеялся на перерождение большевизма. Курский в 1919 же г. ставил ставку на тенденцию к социализму.

Сосуществование двух тенденций, социалистической и буржуазной—дело не вчерашнего дня, а утешительные надежды питают левых за счет правых и правых за счет левых тоже не со вчерашнего дня. Иван кивает на Петра...

Но, тая противоположные надежды, («руками комиссаров создадим национальную армию» и «руками военспецов создадим пролетарскую армию»), исповедуя разные Кораны, обе стороны, как единственно живые и дееспособные силы того времени, были историей принудительно впряжены в одну телегу.

Природа пустоты не приемлет. Российская государственность не могла остаться без армии, а революция не могла выполнить своих исторических заданий без меча в руках. И для этой неотклонимой двуединой задачи были мобилизованы все наличные силы.

Революции пришлось «сменить вехи» в сторону представителей военного знания. Военной интеллигенции пришлось «сменить вехи» в сторону носителей революции.

Процесс какого то социально-биологического приспособления был неизбежен, и совершился *взаимный* «спуск на тормазах» который для обеих сторон вырос из одного и того же корня, *из корня национально-государственной необходимости.*

История по военному предписала обеим сторонам «исполнить и об исполнении донести». И было исполнено.

Чему учит нас, однако, опыт красной армии? Победу какой из двух борющихся тенденций он знаменует,—национальной или интернациональной?

Я полагаю, что красная армия — явление порядка больше чем национального. Она есть органическая часть революции, она охраняет и проносит знамя социального бунта, она пролагала и пролагает пути не только национального, но и социального утверждения России. Но она меньше, чем армия интернациональная. Принцип международной пролетарской солидарности — лишь символ веры нового катехизиса, в котором воспитывается наша армия. Реально и непосредственно эта армия отстаивала национальные и социальные интересы *русского трудового народа*.

Ссылка на то, что она выполняла задачи международного пролетарского Интернационала, ничего в этом определении не меняет.

Совершенно ясно, что изолированной жизни народов на нашей планете нет, что всякая борьба *здесь* как то отражается *там*, какую то тенденцию усиливает, какой то тенденции противоборствует, но давать *основное* определение армии по этим производным, вторичным и служебным признакам было бы в такой же мере произвольно, как и неубедительно.

Мы считаем нашу красную армию явлением порядка сверх-национального. Красная армия воплотила в себе одновременно обе тенденции, — и национальную, и революционно-социальную. В этом смысле и оправдался и не оправдался прогноз обеих сторон. То, что родилось в результате творческих усилий и предстало перед нашими изумленными глазами, есть и победа обеих сторон и их поражение, и вместе — ни победа, ни поражение.

4.

Город и деревня.

В начале все казалось ясно. Город, в лице своего пролетариата — авангард. Он решает политические и социальные судьбы страны; он задает тон, он руководит, — деревня подчиняется. Казалось, — деревня распылена, не имеет ни организации, ни политического сознания, ни ясно выраженной воли.

Жизнь, однако, все эти расчеты опровергла.

Коммунизм, как некая более отвлеченного порядка идея, должен был в первую очередь опереться на реальный костяк нации, и те конкретные воплощения, какие он стал воспринимать, неотвратимым образом окрасились в наши специфические национальные тона.

Интернациональная идея, вступив на русскую почву, должна была к своей боевой формуле диктатуры пролетариата сделать еще некий привесок в виде «беднейшего крестьянства». Привесок этот, который понимался больше фразеологически, чем в серьез, был первой данью пролетарского Интернационала мужицким особенностям нашей страны.

Так родилась рабоче-крестьянская хартия Октября. Но само сочетание слов «рабоче-крестьянский», «рабоче-крестьянское», отлившееся, казалось, в нерушимый стереотип, звучащее уже порою с торжественной велеречивой пустотой, претерпело на протяжении четырех лет многообразные перевоплощения.

Первоначально понятие «рабоче-крестьянский» находило свое политическое выражение в блоке коммунистов с левыми эс-эрами и в провозглашенном от имени этого блока принципе социализации земли.

Весною 1918 года, однако, самой большой бедой и напастью на Русь святую был провозглашен «мелкий хозяйчик» и в частности — мелкий хозяйчик деревенский. Перефразируя известный логунг в применении к тогдашним настроениям власти, можно было бы сказать:

— Либо мелкий хозяйчик победит социализм, либо социализм победит мелкого хозяйчика.

А уже в 1919 г. на VIII партийном с'езде Р. К. П. пришлось изобрести новое понятие «середняк». Кто же этот «середняк» по классовому своему определению? Очевидно,—не крупный капиталист; но также очевидно—не пролетарий. Тогда, увы-и ах!—он —мелкий хозяйчик, тот самый, злокозненный, в отношении которого коммунистическая идеология еще так недавно стояла на позици «или—или». Да, он и никто иной.

Наконец, на IX с'езде советов понадобился новый пересмотр основного договора революции, потребовалась новая переоценка.

Оказывается, в новой, мирной «экономической» стадии революции нужны совершенно иные формы союза между двумя ее главнейшими социальными элементами.

— Кто просмотрел необходимость изменения самой сущности и форм этого союза,—говорит Ленин,—тот в новой экономической политике ничего не понял. Торговля—вот единственная форма этого союза, смычка между пролетариатом и крестьянством. Это открытие, конечно, чрезвычайно неприятно, но если мы будем руководствоваться «приятностями», мы упадем до социалистов времен Керенского...

Если город этой своей очередной задачи не осуществит, то авангард революции слишком далеко уйдет вперед от основной крестьянской массы, и ему будет грозить отрыв. Собственническую стихию нельзя декретом отменить; ее можно только органически изжить, пользуясь ее же методами и дав ей бой на избранном ею же поле брани,—на рынке.

Такова та позиция, к которой «сползла» революция по сегодняшний день. Но что знаменует она, как не повелительно диктуемое жизнью равнение на деревню?

Это равнение на крестьянина, готовность (во избежание «отрыва») соразмерять свои шаги с его шагами, «переваривать» переворот сообразно его желудку, подчинять все производственные, хозяйственные и технические планы его нуждам,—самая характерная для нашего времени черта.

Мы видим, как с неизбежной закономерностью, на протяжении четырех лет, социальная база революции признается расширенной. После беднейших были признаны и бедные, потом — середняки, а теперь, — passez moi le mot, — и кулачки. Не так, чтобы настоящие кулаки, а такие... кооперативные,—арендаторы с правом маленькой эксплоатации наемного труда.

На исходе четвертого года оказалось, что пролетариат, составляющий всего 3% населения, в основной своей массе деклассировался и что если говорить о базе революции не в тонах торжественной декларации, а настоящим деловым образом, то на сверку почти никого, кроме широкой крестьянской демократии, нет.

Ради крестьян пришлось перестроить всю экономическую политику, отказаться от социалистической системы учета и распределения даже в отношении хлеба, а как недавно еще хлеб считался и основным и незыблемым об'ектом социалистического опыта!

Да, город «идет в Каноссу» к деревне. И это так понятно.

Крестьянство — само тело страны. Его численный перевес подавляющ, экономическая сила — всепокрывающая. У крестьянства — фактическое «право кошелька», право на хлеб насущный. Крестьянство - главный поставщик при мобилизациях; оно имеет до 90% в рядах армии и довольно значительный процент в рядах молодого командного состава. Оно закрепило за собой крепкую организацию и является уже крупнейшей реальной силой не только экономической, но и военной. Армия—настоящий вооруженный крестьянский парламент, воинствующая крестьянская общественность.

Крестьянство в России может и не определять форм революционной власти, но зато оно, оставаясь даже политически пассивным, всецело определяет *содержание* политики этой власти,—по крайней мере, ее экономическую сторону.

На нашу российскую современность под углом нажимают коммунистическая идеология и крестьянские особенности нашей страны. И жизнь в России, подчиняясь закону параллелограмма сил, идет как бы по некоторой равнодействующей.

Вот эта то диагональ и символизирует наше закономерное строительство изнутри; она то и есть творческая линия новой России, подымающаяся из народных низин, из недр нашего хозяйственного уклада, своеобразного быта и исторических условий. В этой новой линии—высшее утверждение революции и ее сокровенного глубоко национального смысла.

В уразумении революции мы все ошибались. Кто определит, чьи ошибки были глубже и чьи—непоправимей? Несомненно одно, что наша великая революция, разразившаяся именно в России и именно в результате войны, не имела еще до себя прецедента, и никакой запечатленный в исторических трудах опыт не мог осветить впервые пролагаемый путь самоутверждения.

Революция чертит свои письмена не в книгах, а на спинах масс. Уроки, которые она дает,—осязательные, предметные, болевые. Эти кровавые поучения революционной каждодневности меняли политические симпатии и антипатии, преображали тактику борьбы, передвигали догматически предустановленные сроки.

В ту меру, в кою большевики хотят предварить и упредить исторический ход событий, наперед рассчитать план дальнейшего, принудить факты и своеобразные наши социальные тенденции двигаться по кругу их догмы—они терпят те же идейные поражения, что и догматики справа.

Разница между Лениным и правыми в данном случае только та, что творческая интуиция его ближе к социальному пульсу современности; что деревья доктрины не заслоняют для него леса жизни; что, как Кутузов в Отечественную войну, он мудро соглашается с тем, *что есть и неизбежно;* что, как Кутузов, он имеет мужество оставить позиции в социальной войне 1922 г., не менее важные, чем Москва— в войне национальной 1812 г., что он знает высший секрет политической мудрости: повиноваться массам так, чтобы ими повелевать, и повелевать так, чтоб им повиноваться.

5.

Первое преображение в котле революци претерпела наша государственность. Революция разложила и испепелила старую бюрократию, старый государственный аппарат, старую армию. Недаром началась она с пожара окружного суда в Петербурге. Это был символ. Это было торжественное сожжение на жертвеннике революции старого права и старой государственности. Наиболее мощный шквал революции—октябрьский—отвергал уже в своей массовой стихии всякую государственность, достигал уже граней анархии.

Но, дойдя до естественного своего завершения, эта антигосударственная стихия выродилась в свою противоположность. После октябрьских дней от антигосударственности сразу и круто повернули к гипертофии государственных начал:

— Всероссийская канцелярия, всеобщая чиновничья повинность.

Это не было даже массовой школой государственности. Это были какие то всероссийские пропускные ворота практического государствоведения, через которые должно было пройти все население страны.

За скобку красной бюрократии были включены не сотни тысяч и даже не миллионы, а десятки миллионов людей.

Могучий национальный организм, хлебнув полной чашей яду анархии, стал в лошадиных же дозах вырабатывать противоядие государственности. Центробежные силы анархии должны были породить центростремительные силы крепкого бюрократизма, который, действительно, не замедлил явиться. И от антигосударственного самоуправства сделали акробатический скачек к повально-государственному самоуправлению.

Эта гипертрофия централистских государственных навыков, в свою очередь, стала изживаться к концу 1919 г. и очень болезненно сказалась при первой же попытке разрешения хозяйственных задач. Политическая мысль, привыкшая двигаться по кругу жесткой военной дисциплины и государственного централизма, имела наиболее естественную склонность применить эти методы, только что принесшие столь благостные плоды, и к новой области, т. е. пойти по линии наименьшего сопротивления. В результате—экономический Седан.

До недавнего времени государственность наша имела отрицательную ценность, как реакция против анархии, вольницы, партизанщины, пресловутой «власти на местах». Сейчас, и лишь сейчас, она становится ценностью положительной.

Только теперь революция, после «тезы» анархии и «антитезы» аракчеевщины, начинает обретать свой высший, глубоко-жизненный и мудрый синтез.

* * *

Свобода и диктатура... Мы начали со свободы. «Триста лет мы молчали,—будем триста лет говорить». Говорили на свободе меньше: всего девять месяцев. Слово, зачатое на свободе в феврале, родило ежовое дело диктатуры в октябре.

Какая эпидемия словоизвержения! Речистый Керенский был не случаен,—всякий народ имеет такое правительство, какого он достоин.

Кто мог забыть эти толпы народа, эту жаркую митинговую страду от восхода до заката, а потом еще «лишочек» и после заката. Сколько часов подряд на солнцепеке в одном Царицыне на площади перед Благовещенским собором, проводил свои митинги знаменитый Минин. Серая солдатская масса лошадиными дозами принимала новую политическую словесность, новую трактовку все той же темы о враге «унутреннем» и о враге внешнем.

Слова были разные—и красные и белые, и желтые, но и тех и других и третьих было больше, чем нужно.

Наконец, словесное наводнение стало угрожать нации. Открытые шлюзы грозили затопить всякую волю к действию, и решимость борьбы растворить в потоках елея и желчи.

Тогда появилась,—и не могла не появиться,—сильная рука, сложилась в здоровенный кулак и среди хаоса всенародного словоизвержения ударила по митинговому столу: «Довольно!»

—Довольно слов. Довольно свободы. Довольно разномыслия. Говорить будем мы одни. Правду знаем только мы. По нашей правде живите все. Митинги превратим в собрания, а собрания—в послушную рукоподымательскую машину. Вообще,—долой свободу и да здравствует диктатура!

Пусть простят мне мои товарищи по перу,—рыцари духа Свободы, но да будет благословенна крутая рука, которая в ту пору сумела остановить словесный поток. Иначе,—мы все погибли бы от наводнения.

Интеллигенция, рассматривавшая свободу в ее отвлеченно-формальном составе, считала, что «libertas» есть высшая и абсолютная самоценность. Народ же требовал действия, реального осуществления своих чаяний. Это и только это ему было важно. Свободу он понимал, как безделие и безответственность, а диктатуру, как ответственное революционное дело.

Если отрешиться от «сердца горестных замет» и в исторической оценке отдать себя во власть «ума холодных наблюдений», то придется признать, что диктатура была естественной реакцией против свободы, и в свое время, в своей исторической обстановке себя, несомненно, оправдала.

Но... времена меняются, и, по признанию Ленина, «сегодняшнюю задачу нельзя решать вчерашними приемами», ибо «иные достоинства грозят превратиться в недостатки».

Революция, пройдя через безответственный период свободы и более чем ответственный период диктатуры, оказывается теперь вынужденной к синтетическому разрешению задачи. От жесткого, всепокрывающего централизма ей приходится отступиться и искать счастливого сочетания централизма с децентрализацией, которое подлинно соответствовало бы духу нового созидательного периода.

Свобода есть веление времени и, хотя в этом именно пункте пережитки прошлого и кремневое упорство—наиболее свойственная черта всех властей, всех времен—мы идем к ней и неизбежно придем. Но свобода эта не будет и не может уже быть ни свободой безответственности, ни свободой безволия. Не даром мы прошли фазу диктатуры и почерпнули от ее волевого закала и суровой решимости.

* * *

О социально-экономическом экспериментаторстве у нас принято говорить, как о злой и обидной для страны («кролики») проделке большевиков. Не хочу оправдать большевиков от этого обвинения, но, по справедливости, хочу освободить народ наш от обидного для него подозрения.

Тяга к экспериментаторству отнюдь не привита народу извне, а коренится в самой социальной психике революционных масс. Чем чернее был вчерашний день, тем озаренней и чудесней рисуется революционному сознанию масс завтрашний день.—отсюда склонность к утопизму. Чем более робко, «благонамеренно» и осторожно велась политика первых месяцев революции, тем спасительней должны казаться так называемые «революционные методы»,—отсюда «экстремизм» и максимализм. И, наконец, чем упорней, последовательней и настойчивей закупоривалась изобретательская инициатива в прошлом, тем напряженней, напористей и ярче должна была прорваться струя прожектерства, которая в революции нашла благоприятную среду для своего развития.

До революции, а отчасти и в первые месяцы революции все эти клапаны были натуго закупорены. Чему же удивляться, что взрыв социального авантюризма достиг своих крайних пределов, что все минусы по мановению руки были переделаны на плюсы, что все крайности выродились в диаметральную свою противоположность?!

Логика слов здесь бессильна что либо изменить. Это—стихия. Это—закон. Лестница должна быть перевернута вниз. «Кто был ничем, тот станет всем».

В полное и целостное преображение жизни массы верили не потому, что большевики их так поучали, а потому, что вера эта была первоначальней и неистребимей всего в их темной и тяжелой жизни.

К революционным методам перешли тоже не по одному лишь злокозненному наущению, а потому, что методы эволюционные безнадежно провалились и обанкротились в первые полгода революции. Изобретательское прожектерство было в свою очередь бунтом против холодноватой трезвости прежнего времени.

Наряду с социальной сказкой и героическими способами преодоления преград, изобретательская мысль проектировала чудодейственную техно-сказку механизации и машинизации, при этом, конечно, обязательно «во всероссийском масштабе». Дело дошло до того, что иные, наиболее ретивые из прожектеров стали задумываться над тем, не пора ли пересмотреть саму пролетарскую эмблему. Подумайте,— серп и молот, что за кустарничество! И это в то время, когда мы на всех парах мчимся к электроплугу и трактору!

Отрезвление в состоянии умов могла внести лишь суровая рука жизни. Она это с большой убедительностью и предметной показательностью и делала в течение революционных лет. В результате— разочарование в социально-экономическом экспериментаторстве. Однако, разочарование отнюдь не знаменует еще очарования старыми дореволюционными формами политического и хозяйственного бытия. Прошлое погибло безвозвратно. Легендарные образы счастливого будущего, хоть и не исчезли окончательно, но ушли в утопическую даль. Реальный завтрашний день не знаменует ни возврата к прошлому, ни немедленного пришествия в социалистическое царство будущего.

Жизнь строит завтрашний день на синтезе прошлого и будущего. То, что осталось прочного, надежного, крепкого в прошлом, сочетается с тем, что уже сейчас осуществимо из сказочной утопии будущего. Реальное оплодотворяется семенами идеального. Новый крепкий отвар бытия уже не пьянит: он лишь слегка возбуждает ум к творческой работе и вместе утоляет физическую жажду.

В этом сложном органическом сочетании изобильного утопизма с суровой и скупой нищетой--одна из примечательнейших черт наступающего синтетического периода революции. Электроплуг и трактор не исключают серпа и молота. Государственный капитализм наверху уживается со свободной торговлей внизу. Международный крупно-капиталистический консорциум приходит к нам и утверждается наряду с мелким кустарем. В российском нашем хозяйстве бойкое и оборотистое кустарное дело использует вокруг себя такие рессурсы и возможности, которые крупная промышленность со своими слишком широкими организационными и хозяйственными навыками, со своим громоздким аппаратом использовать не в состоянии. Поэтому экстенсивное хозяйство у нас, в России, еще долго будет уживаться рядом с хозяйством интенсивным.

Разве не так строилась прежняя Москва? Разве наряду с избушками на курьих ножках не воздвигались купеческие широкие низколобые дома; наряду с ними—старые дворянские барские хоромы и еще рядом—дома в стиле «модерн».

Аналогия эта не случайная и не поверхностная.

Москва всегда была сердцем России, наиболее кристаллизованным и ярким выражением национального духа. Лондон может перепланироваться, сносить богатейшие дома, чтобы вытянуть и выравнять линию проспектов и парков. Москва же всегда строилась и будет строиться иначе. Москва — путанная. Москва—неровная, с лабиринтами улиц, уличек, переулков и тупиков.

Кто хочет понять Россию, итти с ней нога в ногу в общем темпе государственного зодчества, в единой пульсации сердца и крови, тот должен неизменно иметь перед собой современный образ Москвы, не выдуманный и, в сущности, даже не новый, ибо в его революционной и интернациональной новизне звучит вечная и исконная московская старина.

Москва чудится мне великой горой, историческим и социальным Монбланом, на котором вы найдете флору и фауну всех климатических поясов, отзвуки всех эпох от Ивана Калиты до Владимира Ульянова, отголоски всех культур. Но здесь, в этой пестроте, разнообразии и движении, в этом новозданном Пантеоне революции, в этом Вавилоне современности для всякого вдумчивого и мыслящего наблюдателя уже предчувствуется великий синтез наших апокалипсических дней.

6.

На исходе пятого года Великой Смуты, на пепелище разорения на багровой земле Революция вновь возвращается к бескровным истокам своим; вновь обретает общенациональное и мировое признание.

После Египта царского рабства мы хотели быть чудом вознесенными на крыльях ангельских и очутиться мгновенно в земле Обетованной, в земле Ханаанской. В ребяческой беззаботности мечтали миновать пустыню и голод, и холод, и мор, и малодушное уныние, и звериное взаимоистребление. Так не бывает, так не было от века, так не сказывается даже в чудесных восточных сказках.

В пору подготовляющихся веками великих потрясений бескровность обретается ценою крови; обще-национальное замирение, хотя бы временное, эфемерное и внешнее—ценою обще-национальной междоусобицы; мировое признание—ценою блокады, интервенции, взыскания долгов.

Но, заплатив дорогую цену золотом и еще более дорогую кровью, мы сверх того обрели, да, уже обрели—многообещающую... коалицию. Многообещающая коалиция,—не звучит ли ирония в этом словосочетании? Нет. Нынешняя коалиция живых сил иначе складывалась, чем приснопамятная коалиция 1917 г., и знаменует иные достижения.

Старая коалиция создавалась искусственным образом, шла сверху, как комбинация партийных верхушек, взошла на дрожжах взаимных полууступочек и компромиссов, отмечена была роковой печатью кабинетного межеумочного бесплодия в предгрозовой тишине всенародной стихии.

1917 г. ознаменовался двумя целованиями, и оба целования были коалиционными. В августе целовались Церетелли с Бубликовым, а в ноябре Троцкий с Марией Спиридоновой. Первое целование завершилось мордобоем в том же августе месяце (мятеж Корнилова), второе—в июле следующего года (мятеж левых эсэров). Простите за скептицизм,—не верю в политические целования. Никогда ничего доброго не предвещают они.

Новая коалиция выросла из недр революции и взошла на иных дрожжах,—не сладких, не елейных и не поцелуйных. Над кровью, муками и страстотерпством возвышается она не как громоотвод, а как послегрозовая радуга,—знамение лазури, купленной ценою бурь.

Прошедшие сквозь испытания революции, выжившие, а потому—живые силы, вплотную придвинуты к сотрудничеству, которое таит в себе семена борьбы, и к борьбе, которая прихотливо принимает формы сотрудничества.

Кто-же «устоит в неравном споре»? Чей конь домчит? Какая тенденция восторжествует? Мы видели, как революция разрешает свои антиномии: леность и труд, разрушение и созидание, война и мир, Национал и Интернационал, город и деревня, диктатура и свобода. Из двух тенденций побеждает... третья,—тенденция историческая, утверждающая жизнь в ее противоречивой сложности, кристаллизующая новые сочетанные образы,—тенденция *синтетическая*.

То новое, кровавыми испытаниями купленное сочетание живых сил, которое обретает жизнь в результате борений и клокотания в самых глубинах революционного вулкана,—является на свет Божий в составе, как бы химически перерожденном, впервые созданном и ни на что дотоле не похожем.

Силы старые и гнилостные в пещи революции испепелены в прах. Но силы не вполне изжитые и силы свежие, впервые восходящие, противоборствующие, но живые,—они подверглись внутреннему преображению и ныне вступают в свои права уверенно и твердо. Они сочетаются между собой в новом направлении; их взаимодействие выливается в формы, каких еще не было никогда, и трафареты для которых мы тщетно ищем в кладовой истории.

Живые силы эти, поклоняясь разным богам, возжигая жертвы на *разных жертвенниках, преследуя разные идейно-политические цели*, повелительно *принуждаются* жизнью работать над одной общей для всех задачей, вырастающей из корня народно-государственной необходимости. Мы присутствуем при нарождении какой-то своеобразной социально-экономической амальгамы, которая и есть самое плодотворное, творчески-неповторимое порождение нашей и странной и страшной и великой революции...

Коалиция живых сил подымается с низин социального существа России, не имея коалиционной головки наверху. Но своеобразие переживаемого переходного периода заключается именно в том, что подлинно—живые слои и главный из них—крестьянский—*направляют, не управляя*.

* * *

Опираясь на мощный военно-государственный аппарат и на всенародную коалицию живых сил, новая Россия преодолеет стоящие перед нею великие испытания и трудности: избежит опасности колониального порабощения и хозяйственного провала.

Новая Россия в синтезе революционных борений—грядет, как государство независимое, сверх-национальное и экономически преображенное...

И. Лежнев.

Надо жить.

Кости сухие, слушайте слово Господне.
(Иезекииль 37, 4).

I.

Четыре года назад, помню, я написал в одной из последних газет тогда умиравшего строя: «Словно пишу на последней бумаге последними чернилами последнюю статью. Чувствую себя, как римлянин четвертого века, как умирающий Авзоний перед наступившими варварами».

Предчувствие мое оказалось довольно реальным. Последняя газета оборвалась. Всю эту газетчину старого периода заперли на ключик и пришлепнули сверху тяжелою красной печатью.

И вот теперь, как сказано, через четыре года я снова берусь за перо и начинаю статью, уже не последнюю, а первую статью нового периода, правда, не для газеты, а пока для журнала и притом для ежемесячника. Искренно надеюсь, что это лишь первая ласточка. За ней пролетит и другая и третья, не только мимо моего, но мимо чужого окошка, и начнется весна.

Весна, выставляется первая рама...

Говорить о весне, пожалуй, еще и не время, но прежде чем двинуться дальше, следует остановиться и отдать себе отчет, что именно произошло за эти четыре года, что исчезло и что выросло, что умерло и что ожило, воскресло...

Четыре года... Тяжелые это были годы для каждого из нас, российские граждане. Чуть мы не умерли... *Чуть*, говорят, не считается. Мы разговариваем с вами, читатель, так, значит, мы живы. Мы все существуем, кроме тех, которые уже не существуют...

Страшные годы, восемнадцатый и девятнадцатый... Каждый из нас потерял свое место под солнцем, потерял свое привычное гнездо и пищу и кров и всякие решительно доходы, безгрешные и грешные, буржуйные и также трудовые, и вдруг очутился на самом распутьи дорог, нагой и босой под режущим ливнем грозы.

Dies irae, dies illa ...... Грянул громовый раскат и другой раскат подземный. И с неба и из ада хлынули реки огня. И здание культуры покачнулось и расселось. Деревянные дома разобрали на топливо. Переломали все автомобили, переели лошадей и собак. Настал день суда за грехи наших предков и за наши собственные.

Какие ужасные, злые потери! Каждый из нас потерял своих близких, оставил позади лучшую половину своего существа. И все мы имеем поэтому право говорить об этом минувшем периоде бесстрашно и искренно.

И нечего нам подковыривать друг друга. С одной стороны, допрашивать настойчиво и бесцеремонно: «Како веруеши?» А с другой

стороны шипеть и заподазривать: «Уж не продался ли ты»? Страдание свято. Никто не продает своих свежих гробов за несколько серебренников...

День суда... Словно расторглись между людьми обычные связи труда и взаимного обмена. Сапожник тебе уже не шьет, и мужик для тебя уже не пашет. Оборвалось святое и вечное: «один с сошкой, а семеро с ложкой». Хочешь картошки поесть,—так сперва раскопай свою собственную грядку, полей ее собственным потом, удобри ее собственным навозом, посади, прополи, да еще постереги, чтоб другие не украли, сам дров укради, печку вытопи, свари... Да мало ли еще...

Пред миром восстал новый трудовой принцип, еще невиданный: «Каждый человек сам себе ассенизатор». Не мудрено, что многие не выдержали марки и убрались в Могилевскую...

Теперь вот я говорю об этом довольно незлобиво, но тогда это казалось воистину зловещим. Словно спустили нас с земли на самое адское дно, бросили в огненную печь, в жерло кипящего вулкана. Потом оказалось однако, что везде можно жить, даже и в аду. Мы побывали в печи и что же?—обдержались, как печные горшки, почернели, да не лопнули,—кипели в вулкане и дышали огнем, как живые саламандры, подобрали животы, сбросили с костей все лишнее сало, нажили новые мускулы на руках, ослабевших от мещанского безделья.

А главное,—изжили робость перед жизнью, рабский страх перед холодом и голодом, перед опасностью, перед смертью. Кто прошел сквозь горнило революции, тот ничего не боится, того уже ничем не испугаешь.

Чем были мы раньше, даже самые лучшие, самые безстрашные меж нами, герои, борцы, присяжные революционеры? Наши революционные борцы умели умирать за революцию, но жить в революции никто не умел, никто даже не представлял себе, как это выходит. Но одно дело—вспыхнуть ярким пламенем, взвиться, как ракета, сгореть, как фейерверк, и совсем другое дело—раскаляться сурово и долго и тускло, как расплавленный чугун, текущий на морозе. Этого раньше никто не умел, но пришла революция и сразу научила не только сильных, но также и средних и слабых.

* *
*

И если от мира телесного подняться к духовному миру, от картошки и хлеба и дров воспарить к надеждам и мечтам великого переворота, получается все та же антиномия, та же неожиданность того, что совершилось.

Февральские дни, да будет благословенно имя ваше! Сколько умиленных слез я пролил перед вами, сколько эпитетов, звучных и ярких, как бронза, я расточил и рассыпал кругом для вашей пущей славы! Закрою глаза и все еще вижу, как вьявь, под колоннами думской Тавриды толпу и войска и знамена: и грузный Родзянко, с каменной улыбкой на бледном лице, как некий новый Будда или Перун, принимает всеобщую присягу от имени отечества ...

Стал перечитывать кстати последние февральские журналы и газеты семнадцатого года. Грустно читать, и немножко смешно. Почтеннейший Арсеньев в почтеннейшем «Вестнике Европы» (ныне покойные оба), восхваляет счастливые светлые дни, бескровный характер российской революции.

Бескровный характер... Нечего сказать, угадал. Нашел что похвалить... Небесные розы Февральской весны предвещали нам кровь. Отблески грядущего упали на землю настоящего и вспыхнули, как сполохи, до самого зенита. Ибо кровь человеческая, это жертвенная кровь.

И когда предстоит ей пролиться, небо убирается в лучшие краски, небо украшается венками, как алтарь.

Теперь же, когда мы, наконец, кое как перебрели через эти кровавые реки, без всякого брода перешли, можно сказать, через целое Красное море, начинаешь понимать еще и то: если бы русская революция была, действительно, бескровной, она ничего бы не стоила и просто бы в счет не пошла. Не стоило бы и затевать ее. Была кровопролитная война, и вышла из нее кровопролитнейшая революция.

* *
*

Забегали тотчас газетчики, засуетились под-лидеры и лидеры. Каждый партийный оратор защелкал соловьем. Все мы точно ослепли от первой же молнии. Помню, какой то наивный репортерик спрашивал меня этаким дрожащим голоском: «А что теперь будет»? И я принял уверенную мину и изрек: «Будет бенефис для свободной печати»... Хорош бенефис...

Всякие партийные фракции, пиджакции, зипунции, стали чертить политические планы и тут же заявляли в одиночку и блоком и в полблока: «Вот тебе план, революция! По этой пройди половице! Ни шагу в сторону, а то оборвешься и грохнешься в пропасть. И тогда что же со всеми нами будет»!

Правые эс-эры, право-левые эс-де-меньшевики вместо марсельезы неожиданно запели маленький знакомый напев:

Медленным шагом, робким зигзагом...

Не дремали адвокаты и всякие сенаторы и старые и новые,— были тут жрецы, юристы и архонты и софисты,— кого тут только не было,—и все сочиняли на спех уложение новой свободы,—такое уложение, при котором наибольшее количество людей произносило бы наибольшее количество речей,—добрались потом до «настоящего», взапуски, всласть, взасос, разбирали по пунктам избирательный устав, по всеобщей и по равной, и по тайной и по явной ...

А революция шаталась, как пьяная, опьянев от огромного успеха, а также и от крови, которая лилась в изобилии, черт знает зачем, на всяческих фронтах, в Европе и Азии. Где же ей было пройти по одной половице... Она улыбнулась загадочно и бесстрашно занесла ногу над бездной.

И целый предпарламент единогласно завопил: «подожди»!

Тогда революция открыла свое настоящее лицо, сфинксом обернулась, и Шаляпинским Еремкой рыкнула трубно в ответ: «Не стану! Некогда ждать!... Все подавай сейчас, сию минуту, и землю и волю, недвижимость и движимость, и жизнь и кошелек!... Всех перестреляю в двадцать четыре секунды!... Сарынь на кичку!... Широкая масляница!... Раз в год свинье праздник!»...

Проснулась тяжелая мужицкая ненависть к барину, к пану, и едкая зависть голодного злого посадского к раздутому скупщику, и бешеная ярость окопного раба, обреченного на бойню.

Помните того жуткого солдата, который пророчески брякнул в упор самому Керенскому: «На что же мне и воля и земля, если меня убьют». Вот это и значит: «Сейчас подавай»! Брякнул и тут же брякнулся в обморок сам. Но этого обморока потом революция не простила эс-эрам.

Защелкал эс-эрский оратор своим соловьиным языком, а мундирный мужик защелкал ружейным затвором. Пушка обернулась по щучьему веленью, к фронту задком, а к тылу передком. Выросли внутренние фронты. Пошло столпотворение. Началась гражданская война. Все рушилось.

Всякие чудища явились. Самостийники. Казаки. Анархисты. Винниченко, братья Гордины. И где он теперь, Винниченко?...

Сирены анархизма запели: «Лучше нам маленькая анархическая Швейцария, чем разливистая романовская Россия».

Чудесная труба государственной власти,—из тончайшего стекла,—упала на землю и разбилась на мелкие осколки.

2.

И вдруг оказалась на юру, на самом перебое этого невиданного вихря, компактная группа людей, которая словно впитала в себя всю национальную решимость осклизлой, расхлябанной России. И самые осколки стекла она подобрала и как то склеила их вместе и опять заиграла на трубе, все те же знакомые сигналы:

— На ле-е-во-п! На пра-а-во-п!..

Одичалую массу солдат, растерзавшую Духонина, она распустила и снова их собрала и склеила красную армию. Бросила дерзко тот самый лозунг, которого ждала толпа, затаивши дыхание: «Дели! Грабь награбленное!...» Дерзнула на все и тут же поставила две оговорки: еврейских погромов нельзя и пьянства не надо. Поставила твердо и властно и ни разу не сбилась.

Торопилась действовать, всю волю к действию российской революции собрала в себя одной. Помните крылатые словечки: „Сперва захватим (например, речной флот), а потом уже будем думать, что с ним делать". На простом тривиальном языке это выходит, пожалуй: „Не посмотрев в святцы, бух в колокол". Не поздоровилось от этаких приемов не одному только речному флоту. Целые области жизни, части России, убуханы в колокол, прошли под набатом гражданской войны и ныне отмирают на наших глазах. Но на этом не взыщите... Таков уж метод развития и действия революции вообще и русской революции в частности...

Старые ведомства разбили, а новых настроили,—вышли такие загородки, частоколы из букв: В. С. Н. Х., Р. К. П., В. Ч. К. Алфавита не хватило на все эти буквенные ребусы, придумали свой алфавит.

То, что они делали, казалось безумным, как сон на яву, но в этом безумии потом об'явилась особая система... Мир с немцами. Брестский жест... Поставили карту по банку на все и выиграли партию. А чьими руками, своими ли, чужими ли, не все ли равно?.. Победителя не судят. Его об'являют скорее спасителем отечества.

Целой Антанте бросили вызов, да какой,—оглушительный.—Всю Россию завертели волчком:—Власть на местах... Комитеты городской бедноты, комитеты деревенской бедноты, совхозы и безхозы... Ух, до сих пор голова кружится.

Бывшую российскую культуру, какая там она ни была, не то что разрушили, а сбрили до чиста. Всего-то, положим, не сбреешь. Но плешины так и остались зиять и до сих пор ничем не заросли. Чего только не творили, били кнутом буржуазную клячу по самым интимным местам,—*по глазам, по глазам*, как, помните, у Достоевского. Студентов политехников вместе с профессорами посылали чистить в казармах отхожие места. Как будто для их технических знаний не было даже и тогда другого применения. Палку надсмотрщика сунули в руки рабочему, тому, кто подвернулся впопыхах, а бывших буржуев поставили в ряд и крикнули: «Работай!.. Работай непременно из под палки. Мы всю твою спесь выбьем и шкуру выколотим!..»

С Петровского времени палка—непременное орудие российского прогресса.

Государь ты наш батюшка, свет Петр Алексеевич...
Чем ты изволишь в котле мешать?..
— Палкою, матушка, палкою.
Палкою, сударыня, палкою!..

А в виде параллели к Петру и Петербургу можно поставить и Москву, не старую Москву, новую прогрессивную, наипрогрессивнейшую Москву, о которой когда-то Некрасов писал:

Там, что ни муж, то ярый друг прогресса,
И лишь не вдруг могли преодолеть,
Что́ на пути к нему вернее,—пресса,
Или умно напра́вленная плеть?..

Нет ли в этом пророчестве намека на нашу современную Москву?

3.

Пора, однако, кончить этот ретроспективный анализ. Я разбираю не программу, не тактику партии, я разбираю самый процесс революции.

Начальные годы российской революции совершились и прошли. Что же изменилось, что заново родилось на русской политической арене?

Прежде всего изменились основные живые элементы революции:— обывательская масса, интеллигентная верхушка и самое бродило, та самая задорная группа, выделившаяся из более подвижных и крепких народных слоев, из крестьян и рабочих, из матросов и солдат. Все эти живые элементы закалились в огне революции и привыкли дышать ее бурным и огненным воздухом. Революция стала для них не праздничным, будничным делом. И катаясь в гремучем потоке, они так долго и упорно толкались друг об друга, пока не обтерли, наконец, более острые грани и колючие углы и почти против воли стали укладываться рядом и смыкаться в одно...

В четыре минувшие года уже сменились два революционных периода, два поколения жертв и бойцов. Одно поколение пало кровавым навозом на скудную землю и стало удобрением для будущей жатвы. Второе поколение смыкается вместе и станет, быть может, живой мостовой, по которой революция будет шествовать вперед спокойнее и тверже.

Я не стану говорить о разрушительном и творческом периоде русской революции и совсем не хочу упоминать о так называемой творческой политике. Я даже боюсь, что творческой программы в том смысле, как ее принимают в программных речах, вообще не существует. Творчество—трудная задача,—в особенности, революционное творчество.

В гимне, конечно, поется: «Построим новый светлый мир». Еще Христос, предшественник революционеров, вызывался разрушить храм и в три дня построить его снова. Но можно усомниться, удалось ли бы ему осуществить эту творческую программу, если бы даже ему не помешали Анна с Кайафой.

Творческие программы затем и создаются, чтобы их не исполнять и действовать наоборот.

Все-таки творчество, конечно, существует, но это не программа, а процесс,—творчество жизни, упорной и цепкой, побеждающей препятствия.

И в согласии с этим я назову первый период революции *механическим*, второй *органическим* периодом. Механический период окончился, органический начался еще с позапрошлого 1920 года. Органический период, это период жизни. И на наших глазах изрытое поле всероссийской гражданской войны оживает, воскресает. Сростаются изломанные члены, мертвые кости обростают живым и крепким мясом. Вздыхают разбитые груди. Загораются светом незрячие глаза.

«Кости сухие, слушайте слово Господне! От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут!» Так сказано еще у пророка Иезекииля.

Жизнь воскресает и вместе усложняется. Ибо жизнь—это сложность. И снова уж затканы новые связи, более живые, более живучие, чем прежде.

Россия понесла от революции; новым порядком вещей чревата Россия, и этот младенец, еще не рожденный, в неесколько месяцев должен пережить то, что его деды и прадеды пережили в много столетий. Он поневоле торопится расти, торопится родиться.

Жизнь и смерть все еще борются, все еще воюют. Гражданская война словно брызнула одновременно на Россию и мертвой и живой водой. Целые области умирают на наших глазах. Но Россия воскресает, и отмершие части России тоже оживут рано или поздно.

Новая Россия оживает. В сущности, Россия никогда не умирала, в самые трудные минуты она интенсивно жила, свирепо боролась за жизнь. И это была и осталась не одна только новая Россия. Это—и старая Россия, Россия вообще, живучая, бессмертная, огромная, могучая Федора. И в почве ее причудливо сплелись новые поросли и древние стихийные корни. Не даром средоточие Советской России основалось в Кремле. Советская власть пустила свои корни в старую почву Московского Кремля.

Иверская и рядом Совнарком... Советскую Россию уже называли: Moscovia Nova. В этом есть порицание, но есть и похвала, хотя бы и невольная. Ведь эта новая, вторая Московия выходит и теперь такая же цепкая, настойчивая, навязчивая во всех своих делах, и внутренних и внешних, как была и первая.

4.

Однако, органический период российской революции имеет, очевидно, особые законы. Процессу органической жизни указывать нельзя, его невозможно вертеть, поворачивать волчком направо и налево. Ему неудобно придавать чеканные и звонкие лозунги, и даже обратно—нельзя и от него позаимствовать лозунгов, ибо лозунги его мало вразумительны и часто беззвучны. Но эти безмолвные веления органической жизни—повелительней слов и их необходимо исполнять без замедления и во что бы то ни стало. Не дай Бог отстать от жизни и остаться за флагом. Надо быть чутким вдвойне и решительным, решительней, чем прежде. Тут некогда думать о тактике. Процесс органической жизни имеет свою собственную тактику. Не приходится бояться временного несоответствия различных частей государственной и общественной постройки. Ибо в самом процессе развития выростет соединительная ткань и неожиданно свяжет разнородные части и заставит их работать и биться биением общего сердца.

В этом изменении типа революции лежит основная причина так называемой новой политики и новой обстановки.

В изменениях революции есть своя собственная причудливая ирония. На ближнем перекрестке красуется рынок без кровли, совсем Колизей. И даже соседи таскают оттуда кирпичи на постройку «буржуек» и последние балки на топливо. Рим да и только.

А давно ли мы собирались на месте вот этого рынка расчистить площадку для игры невиннейших детей!.. Ничего не расчистили, а только мусором завалили. Потом к Колизею прилепилась, как уличная женка, «спекулька», текучая лотошница. Глядишь—уж из уличной женки перекинулась в законную жену. Из вчерашней терпимой сегодня обратилась в любимую. Чем же она сделается завтра?

Предсказывать не стану. Доживем, так увидим.

А если хотите пример из провинциального быта, так я укажу вам на Вологду. Была в Вологде старая торговая площадь. Она называлась Казанская площадь, как тогда полагалось, по церкви, стоящей в средине. А в восемнадцатом году ее переименовали, изволите ли видеть, в «Площадь борьбы с спекуляцией и контр-революцией».

Так и написали на уличных дошечках, даже сократить не догадались: *Плобспер.*

Впрочем, эта новая двойная вывеска несколько напоминает старую двойную вывеску, тоже провинциальную: «Столичный портной из Лондона и Парижа».

А в двадцатом году с началом политики *«нэп»* площадь эту переименовали реально и грубо в Торговую площадь. Отбросили всякую церковность, и правую и левую, и перешли прямо к делу.

Из этой измененной обстановки, из самой вырастающей сложности жизни, связанной и сотканной в одно, выделяется новая сила, свободная энергия, и наша расхлябанная, расстроенная жизнь налита этой энергией до краев, как чаша крепкой кислотой, и я не боюсь ошибиться, если, противно обычному взгляду, скажу, что воля к возрождению и творчеству крепнет на наших глазах и свободная энергия только ждет сигнала истории, чтоб превратиться в трудовую энергию. И если не будет больше роковых неудач и ошибок, иностранных нашествий, стихийных бедствий, возрождение жизни уже не за горами и, быть может, оно совершится с быстротой, неожиданной и чуть ли не чудесной.

* * *

Вместе с свободной энергией выделяется и жадность бытия, радостная жадность, готовая вцепиться когтями в бегущую мимо возможность и взять от нее, что возможно, и даже и то, что не возможно.

В нашей суровой, голодной и серой России,—особенно суровой и особенно голодной в эти последние годы, эта «радость бытия», правда, уже принимает совсем бесцеремонные формы. Не надо заблуждаться, из песни не выкинешь слова. На эту вакханалию следует смотреть открытыми глазами.

И опять-таки Москва впереди...

В Москве говорят о нравах времен Директории, но, пожалуй, московские нравы дадут сто очков вперед и самой Директории.

Посмотрите Директорию на сцене, в Художественном театре «Дочь мадам Анго». Поставлено старательно и верно, вплоть до оборванных пуговиц на кафтанах санкюлотов. Но пред московским размахом, перед этой разухабистой спекулькой бледнеют парижская улица и рынок со всеми дочерьми мадам Анго и вольными народными поэтами из старой оперетки.

Россия не Франция, Москва не Париж. Россия—Россия. Когда то в Одессе приезжих петербургских журналистов приглашали в кафе Робина посмотреть, как новоразбогатевший издатель уличной бойкой газеты хлебает ложкой зернистую икру. Зрелище было в своем роде довольно пикантное.

А теперь москвичи приглашают гостей,—опять таки в кафе—посмотреть, как новоявленные спекулянты уплетают пирожные. Чавкают, действительно, громко. Даже за ушами трещит.

Но я наблюдал не столько над жевательной работой челюстей, сколько за игрой настороженных глаз, за общим выражением лиц у этих «ловцов перед Господом». Какая необузданная смелость, азартная готовность броситься вперед и хватать на лету. История, как сказано выше, еще не подала им сигнала, но резвая свора готова, готова вполне.

Какая смесь племен и лиц... Иные от сохи, иные от солдатского котла, иные от Гостинного Двора. А есть даже и из бывших титулованных. Все больше молодежь, часто совсем безбородые. Есть, разумеется, и старые.

Прислушайтесь к речам. Я разговорился с одним, сыном именитого купца, несколько знакомого по прежнему времени.

Речь его была весьма характерна: «Мы готовы благословлять революцию. Она сделала из нас людей. Как мы раньше жили... Ходили, распустя рукава. Заработал,—и довольно. Остальное подождем. Оттого нас обгоняли и обторговывали разные немцы с англичанами. А теперь посмотрите на нас. Мы всегда на чеку. Мы не дадимся не то что англичанину, а даже самому что ни на есть раз-американцу! Вот вы увидите весной»...

В кофейнях за столами спекулянты не только едят. Тут же за едою совершаются сделки. Миллионы летят и даже миллиарды. Чем только тут не торгуют!. Гвоздями и крючками, сахарином и чаем и мылом, новыми жестяными ведрами и старыми бриллиантами. Особенно бриллиантами. Можно подумать, что вся городская Россия— какая то Голконда, во век неистощимая. Вот эта красивая дама, с таким гордым аристократическим профилем, в девятнадцатом году продавала свои собственные жемчуга, но с тех пор подучилась и стала скупать и уже накопила пол-кружки жемчуга. Кружка эмалированная среднего советского размера. Жемчуг редкостный, церковной красоты. Ну чем же не опера Садко!..

Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес...

И если вспомнить о вольных народных поэтах из старой оперетки «Анго», так в «Доме Печати» на святках в Москве я видел оперетку, новую с иголочки и без всяких народных поэтов. Попросту: «Хорошее отношение к лошадям». Что за блеск, что за грация и что за канкан...

Зачем же говорить об этой устарелой дочери м-м Анго. Внучки и правнучки далеко превзошли дочерей и матерей и самих бабушек.

Впрочем, пора перестать. Не годится расписывать московские соблазны перед хмурым Петербургом. Одни петербуржцы поморщатся гадливо, а у других, пожалуй, и слюнки потекут. Не морщитесь, граждане, и тоже не унывайте. Во-первых, и в Петербурге совсем не без ценностей. Во многих жилетных карманах шевелятся перекупленные бриллианты. Мне показывали некоего бывшего клешника, с этаким детским и круглым, беспечным лицом. Он скупает золотой лом и переливает его в плитки. Только не хватает пробирной палатки и нового клейма.

А ежели и этого мало, так вот, даст Бог, навигация откроется, придут пароходы из Германии и Англии, и вы наверстаете свое и даже и державной Москве понюхать не дадите.

Пора перестать. Я говорю совсем не в осуждение. Не только революцию не делают на розовой воде. Промышленность тоже воскрешают совсем не в перчатках, а с голыми и грязными руками, засучив рукава.

И не к чему тыкать в глаза торгующей публике святочным разгулом и весельем, опереткой и канканом. В городской России теперь пляшут все, и старые и молодые, М. и Ж., богатые и бедные, спекулянты и чиновники, коммунисты и беспартийные и даже контр-революционеры. Вы бы взглянули на святках в любое учебное место и

ВУЗА и ВТУЗА, и не то что увидали бы, а пожалуй и самого затащило бы в круг, - как будто тарантелла. Так же точно плясала и французская революция, та, что на месте Бастилии поставила доску с девизом:—«Здесь пляшут» и публичные казни перемежала топотом карманьолы, буйной и неутомимой.

Пусть же они лучше пляшут, взявшись за руки, вместо того, чтобы резаться и драться, как резались и дрались в эти последние годы.

Dansons la carmagnole, la carmagnole...

* * *

Поставим последние точки над i. Может быть, кто усумнится и спросит:—«Спекуляция, пляска и в Узе и Втузе... А где же итог?». Я на это отвечу:—«Итоги подводить еще рано. Это лишь первые члены, первые слагаемые. Их будет еще много, чем больше и пестрее, тем лучше».

И если еще кто нибудь спросит прямее и резче:—«А ты сам как? Твоя программа какая?» Я отвечу так же прямо: «У меня нет программы, такой программы, о какой вы думаете. Жить надо,—вот моя программа. Россия должна жить во что бы то ни стало»...

Я не боюсь спекулянтов. Не из одних спекулянтов состоит эта новая Россия. Есть крестьяне, есть и рабочие. Есть и будут. Есть также и интеллигенция. Каждый из этих живых элементов приложит свою руку к постройке нового российского дома, соответственно не фразам и словам, соответственно охоте и уменью, а, главное, соответственно своим собственным действительным силам.

Но эти элементы оживающей России чувствуют себя по иному, чем прежде. И в этом весь смысл, все содержание моей статьи. То, что я пишу, совсем не программа, это анализ, обзор, если угодно, предсказание... Я вам не школьный учитель с указкой, чтоб сочинять программы, вдобавок в такое запутанное, смутное время, как теперь. Нет, слуга покорный!...

Живите, не бойтесь, не нойте, не хныкайте, боритесь за место под солнцем!... Сами создайте программу себе, какую вам нужно!..

* * *

Новые элементы оживающей России, чувствуют себя по иному. И прежде всего по иному чувствует себя интеллигенция.

Та интеллигенция, о которой три года говорили, как о чем то ненужном, обсуждали серьезно вопрос, кормить ли ее, или не кормить, и если кормить, то как ее заставить работать,—непременно, *заставить*, силком,—которую обзывали и злой и худосочной, саботажной, буржуазной и ленивой, трясучей, как студень, и вместе непримиримой, как сам сатана. И вот оказалось, что интеллигенция тоже изменилась. Она прокипела в волшебном котле революции и вдруг помолодела, сбросила с костей два пуда ненужного сала и вместе с салом сбросила хилость и старость. И места под солнцем она уже не ищет, она его имеет, как свое неот'емлемое право, ибо она тоже есть часть революции, кость от ее костей, плоть от ее плоти.

Жизнь раздвинулась, и пути ее стали шире. Но не только для мелких кустарных работников, и для средних крестьян и для крупных господ — спекулянтов раздвинулась жизнь. Такое самоограничение было бы слишком нелепо, слишком самоубийственно. И новая обстановка, о которой говорят ежедневно, возникла не исключительно для больших проф-союзов материального труда, текстильщиков и химиков, металлистов и гос-значников и пищевиков с их кооперативами,—но также и для главного союза человеческого духа, который стремится

перелиться через всякие проф-формы, которого никак не сомкнешь и не уложишь в тугой кооператив.

Интеллигенция снова нашла свое место под солнцем, но она не будет стоять на этом месте и вместе с революцией двинется вперед и будет работать над трудной и славной задачей возрождения России. Она отчеканит и оформит новую этику и новую идеологию российской революции.

И как предпосылку этой этики, я ощущаю прежде всего великое чувство свободы от нравственного долга пред народом, того самого строгого, честного, святого долга, под знаком которого мы жили во всю эту минувшую эпоху, от Добролюбова и, пожалуй, до Плеханова. Тяжко и трудно быть постоянным должником, к тому же неоплатным, платить по мелочам, в раздробь, хотя бы и собственными нервами и кровью, и видеть в результате, как все наростают к капиталу простые и сложные проценты.

Но теперь, наконец, все долги заплочены. Революция их уплатила сполна и волей и неволей,—голодом и нервами и кровью, уплатила и живыми головами. А если еще уцелели какие должишки, так с нового года объявлена девальвация не только финансовых, но также и духовных ценностей. Но именно только с чувством свободы от всяких долгов возникает и прочное истинное чувство слияния с народом. Народ не имеет долгов. Он не должник, а державный собственник, миллионноголовый и вместе с тем едино-коллективный.

Новая интеллигенция, заново рожденная в процессе революции, перелитая, перекованная из старой, омоложенная свежей и буйною кровью широких трудящихся классов и самих народных масс, не будет, как прежде, идолопоклонницей, духовной рабыней, крепостной и сантиментальной, она будет рабочим и творческим мозгом русского народа и русской революции!..

* * *

Перечитываю эти строки в начале голодной и трудной весны. Та весна, о которой я мечтал, — весна единения, все еще, увы, не наступила. И продолжается все та же российская слякоть раздора, а голод обычный уж наступил,—и страшнее обычного. Да и что говорить, дошло до людоедства. Мы в Петербурге и Москве тоже, как будто, эмигранты из той настоящей деревенской России, которая мучится и пухнет и мрет на Волге и за Волгой. И кажется иной раз: стоишь перед смертным одром, перед огромным трупом, который лежит поперек безбрежной и серой равнины, „лбом в полюс упершись и пятками в Кавказ“. Жизнь или смерть, живая или мертвая вода?

И все-таки, и все-таки—я верю... Верю в воскресение России, не могу не верить, не хочу не верить. Это мой символ веры, единственное стоющее чувство. Верят же другие в воскресение мертвых, но Россия жива. Россия воскреснет. Я это увижу наяву, успею увидеть своими старыми глазами. Верую, Боже, помоги моему неверию! И моему и вашему неверию, дорогие читатели.

Тан.

К двенадцатому часу.

I.

Нет на свете мук сильнее муки слова... С какой неизбывной болью, зовущей на уста проклятия, мы воспринимали каждую минуту своего бытия эту простую истину, исторически, еще с далей глубоко-прошлых времен, нами столь выстраданную. Мы были счастливы в прошлом, весьма недавнем, когда наступили солнечные дни революционной свободы, и долго жданная и желанная, она создала небывалый простор нашей общественной мысли. Это была дорогая победа, купленная вековыми жертвами: по истине, жертвами кровавыми. Ибо давно было сказано о насилиях над словом:

Если красные видишь кресты—
Это кровь, говорят, проливается...

И затем опять сгустились сумерки. И пришлось выносить муки невысказываемых слов с небывалой остротой, и кощунством казались слова поэта: „мысль изреченная есть ложь"... Шли месяцы и годы. Горели пожары, горела старая Русь, в глазах одних возрождалась из нее—новая, великая и величественная, со вселенским захватом, в глазах других—умирала она, разлагалась, в гробы повапленные обращалась. И все это—в могильном молчании, среди смерти слова, которое для нас всегда было наиболее ценно своей многогранностью и дышало кладбищем тогда, когда мог звучать один только голос с одной—единственной нотой...

И, быть может, ценность человеческого слова поэтому так выросла к нашим дням, что мы с надрывом, слишком больно глодавшим наши души, живо ощущали всю трагедию утраты слова. Это - одна из многих трагедий, пережитых русской интеллигенцией, печальной и траурной интеллигенцией, точно взявшей на себя все скорби всего мира, в его жадных поисках лучшего бытия. И не будет, поэтому, нескромностью сказать, что тяжкий крест несла русская интеллигенция и не будет преувеличением удивиться ее живучести и ее героизму среди руин молчания.

В какую же полосу мы вступаем ныне? Наступает-ли уже двенадцатый час, можно ли уже под'ять свой панихидный лик к животрепещущему солнцу новой жизни, можно-ли обрести парализовавшийся орган речи?

Мы не знаем. В современном хаосе видны, правда, многие просветы. И мы верим им. Верим и поэтому дерзаем. Ибо вера и дерзновение заставили в прошлом двигаться даже гору самодержавия. Ибо без веры и дерзновения давным-давно уже заглохла бы нива жизни и заволоклась бы она зеленой плесенью. Давным-давно, еще со времен Радищева.

И поэтому, ставя вопросы, мы сосредоточиваем всю силу своей веры в русскую интеллигенцию. Она не может ответить на них отрицательно. Она—*русская* интеллигенция. У нее есть история, говорящая за нее пылкими, пламенными словами защиты. Ее сосуществование с апокалипсическим зверем самодержавия является гарантией того, что,—что бы то ни было, и как бы то ни было,—она вся—целиком—обретет и ныне и веру, и дерзновение.

Но отвечает-ли обстановка жизни этому? Ведь нигде не густ так туман пессимизма, нигде тоска разочарования не раз'ела так души, нигде яд скептицизма не разрушает так мысли, как у нас? Кажется, что при первой попытке протянуть руку к животрепещущему солнцу жизни, сотни голосов запротестуют. Тысячи уст сложатся в молчаливую, скорбную гримасу, и воздух пропитается неверием, нигилизмом сегодняшнего дня, смертоносной безнадежностью. И оптимист, носитель веры и дерзновения, — рискует остаться одиноким...

Но ведь—это реакция больной души, которой кажется, что она ранена на смерть. Это—результат четырехлетней, трагической пришибленности, пребывания в „нетях", медленного убивания душ. Только больная реакция больной души,—да и то временно,—может утверждать, что жизнь России кончилась. Что ее история совершила какой-то катастрофический разрыв, образовавший пропасть, в которую свалилась интеллигенция и ее мысль. Что старое погибло в этой пропасти, а нового нет и быть не может, и что „моритурная" интеллигенция, сходя в могилу, не знает даже, кому послать свое предгробное „ave"!

И только такая же реакция больной души может создать иллюзию, что надо ждать воскресения из мертвых прежнего уклада и режима, которые имели достаточное количество времени, чтобы обратиться в прах. Только больная, надломленная душа интеллигенции может питаться благостной сказкой о чуде восстания из гробов старой России.

В конечном итоге, сводя эти две идеологические крайности, получим нелепую формулу; нуль или абсурд. Россия—погибшая пустынка. Или—Россия кошмарным Кащеем воспрянет из гроба. Нуль стоит абсурда. Абсурд стоит нуля.

Это—Прокрустово ложе. На нее положена наша теперешняя жизнь. И после укладки теоретическая мысль, не вышедшая из болезненного состояния, производит свои опыты, искусственно удлиняя и укорачивая жизнь по произволу безрульного мышления, колеблющегося между двумя крайними гранями.

Исторически это объяснимо. Все пережитое русской интеллигенцией не могло не создать такого убожества мысли. Мы слишком усердной рукой были загнаны в кладбищенское одиночество, раздроблены, распылены, захаяны, обескровлены и мумифицированы. Исторический пресс, при сильном нагнетении, всегда выдавливал крайности...

Но это—временное затемнение,—мы верим, мы дерзаем верить, мы дерзаем перелить эту веру в дело.

Жизнь, которая разворачивается в настоящий момент перед нами, в своей пестроте и неубиваемых стремлениях к изменениям, эволюции, постоянному ходу и движению, эта жизнь своим неспокойным состоянием, тревогами, то смелыми, то трусливыми оборотами, скачками и отступлениями и непрерывно-растущими порываниями в ту или другую сторону властно протестует против клеветы на нее, против подозрений в ее импотентности и обвинений в способности или ничем не питаться, или питаться мертвечиной.

II.

Какая в самом деле аберрация умов—предположить, чтобы гигантская страна и гигантский народ, свежий на исторической мировой арене и едва исторически начавший на ней говорить и действовать, чтобы эта страна и этот народ застыли в неподвижности?! Четыре года—пятый длится эта неподвижность, больной летаргический сон? А между тем—жизнь это показывает—у нас за это время каждый день приносил рожденье событий, иногда потрясавших всю старую Европу, каждый миг социальная революция в России разбрасывала свои силы по необ'ятным краям, разворачивала, уничтожала, будила, кричала, звала и призывала, строила и разрушала, собирала и рассеивала. Несметная цепь интересов, благ и людей, смешанных в хаотиче-

скую кучу, разрывалась, ударяя по всем сторонам. Интересы, блага и люди гибли, уничтожались, видоизменялись, возрождались, обновлялись—происходила сплошная и всеобщая, как землетрясение, роковая метаморфоза, захватившая цепко и деревню и город. Перестройка экономическая,—в особенности земельная,—юридическая, бытовая, психологическая, религиозная, всеобщекультурная—в бешеном темпе совершалась она, как молниеносный оборот сказочного колеса. Старый строй не сохранил в неприкосновенности ни одного маленького устоя, ни одной материальной или духовной опоры. Везувий социальной революции засыпал его своим пеплом, сжег огнем, избил камнями.

Разве это не была Россия? Да, все это вынесла Россия, и нужно быть нечеловекоподобным существом, чтобы утверждать, что все это прошло бесследно, что в глубинах и толще страны не произошло никаких отложений, что происшедшее оказалось не переваренным, а валяется где-то в стороне от тела и духа народного, что новой России нет,—есть только развалины старой.

Это мнение слишком присуще нашей интеллигенции. Вопреки всем своим историческим заветам, теперь она проявляет в такой оценке событий—совершенно неожиданный, и притом,—величайший эгоизм. Вихрь истории сильно задел ее, измучил, истрепал, загнал. И все претерпенное ею стало пред ее взором и заволокло правду жизни. Интеллигенция слишком сильно реагирует на свои личные страдания и страдания своих собратьев,—и поэтому неприемлемая для нее революция расценивается именно с точки зрения одних ее темных сторон, обрушивавшихся, бесспорно, слишком тяжко на интеллигенцию. И этот эгоизм, хотя и понятен, но лишен логики и смысла: вся страна—родина, весь народ, весь строй новорожденной жизни, которой предстоит еще долгий срок выпрямления своих путей, остаются вне взора критикующей интеллигенции и рассматриваются, как нечто вторичное, производное от нее, интеллигенции... Не точки-ли это зрения старого самодержавия? И морален-ли такой эгоизм?

III.

Совсем не страшны те взгляды, мнения, предрассудки, предубеждения и искривленные односторонности, какие в идейной мешанине настоящих дней оставляют интеллигенцию в стороне от жизни. Гораздо страшнее упрямство ущемленного эгоизма, который не допускает пересмотра, самокритики, проникновения в душу об'ективного анализа. Страшнее отказ от зрения, чем потеря его. И наиболее страшным было бы сознание бесконечности такого положения.

Но жизнь делает свое дело, хотят-ли этого отдельные умы или нет. Пересмотр старых позиций начался. Начался потому, что жизнь никак не могла остановиться по зову Иисусов Навинов, желающих, чтобы и солнце, и луна, и звезды приостановили свой бег, пока им не нравится современная Россия. Начался потому, что социальная революция вошла в существо России таким глубочайшим клином, который неустраним и ежемгновенно дает себя чувствовать.

Можно относиться, конечно, по разному к сменовеховству. Но в нем есть чудесное зерно—это здоровое начало самокритики, проверки, вторичного перерешения, казалось бы, уже раз навсегда решенных задач и уравнений. Люди не остановились неподвижно и не застыли в позе оскорбленных маркизов Поза, но смело пошли против общего течения. Они имели мужество мнения, и тот водопад обвинений, который на них обрушился, и тот интерес, какой тем не менее они привлекли к себе, доказали ясно, что нащупана живая потребность, найден больной нерв, обнажена чувствительная ткань.

IV.

Никакой пессимизм, никакой нигилизм или абсурдомания не могут уничтожить в интеллигенции живых родников и истоков критической мысли. И они есть, они чувствуются, они шумят вокруг нас. Вся та эволюция по-

следней фазы, какую Россия переживает около года, не могла, естественно, не разбудить задремавшей, застывшей, в холоде и тоске разобщенности и одиночества, свободной русской мысли. Эта эволюция тоже является толчком для начала процесса кристаллизации. И задача наших дней—выявить этот подспудный пока процесс, облить его светом дня и солнца, сделать его предметом перекрестного огня критики.

Прежде всего и больше всего сделать это—во имя России. Для нее нужно, конечно, хозяйственное строительство, экономическое возрождение или, вернее, перерождение, сельско-хозяйственная и промышленная революция,—словом, материальное созидание, земное творчество в самом гигантском размахе и размере, потому что в обратном отношении разрушения мы дошли до пределов, зайдя слишком далеко. Но для России нужно и идейное строительство, возрождение мысли, духовная революция. Мертвой будет революция материи без революции духа. Без вечного огня мысли, без горения мозга, без его исканий, без полетов духа, смелых и быстрых,—мертвы будут и все пути материального воссоздания родины. И это не только в области практически-научной, где русская мысль, несмотря ни на что, продолжала священно гореть, работая и созидая, но и в области широко социальной, правовой, философской, общественной, художественной. Это неизбежно, это так и будет,—или не будет России,—и это не приходит по нашим зовам или молитвам, по вызыванию духов или заклинаниям. Это произойдет в органическом росте духовного развития России, который так же неизбежно—необходим теперь, как и экономический рост. Но это волевой акт духа. И нужно хотеть, волить, нужно работать для этого, нужно подготовлять почву, искать возможностей, созидать новь, по которой пройдет новый плуг.

В этой работе—честь и место интеллигенции. Первое место. Но если благословен грядый во имя Господне, то нужно иметь в светильниках достаточно масла, чтобы встретить жениха. Для того, чтобы пришел этот лучезарный день с новым восходящим солнцем духовного и правового возрождения и обновления России, нужно, благословляя этого грядущего, готовиться к этому дню неустанным трудом. И этот духовный труд должен начаться прежде всего с работы по самоопределению интеллигенции, по выяснению ее новых морально-общественных задач в связи с пересмотром старых ее программ и с оценкой опыта, пережитого родиной за последние четыре года. Нужно определить путем об'ективного анализа свое подлинное отношение в той новой России, которая явилась результатом четырехлетней, такой содержательной во всех отношениях, ее истории. Нужно внимательно и вдумчиво отнестись к тому, что произошло—не только по декретам, а в подлинности—с русской жизнью, бытом, всем укладом, всей демократической новизной, со всеми слоями населения. Надо изучать и понимать новую Россию, которая не даром же прожила эти четыре года в совершенно новых условиях. Нужно исчерпать до дна уроки прошлого, чтобы наметить пути будущего.

Россия не может стоять на одном месте. Она должна идти вперед. Интеллигентная мысль должна заранее видеть эти пути и предвидеть, осмысливать и осознать давнопрошедшее и вновьпришедшее.

И интеллигенция не может стоять на одном месте, превращаясь в каких-то Даниилов-Столпников. Таким стоянием теперь не спасаются и в царствие небесное не попадают. Жизнь, если не послушают ее властного голоса, так же властно потащит силой за собой. А отставших зачислит в небытие.

V.

Вступаем-ли мы в эту полосу ныне? И как нам быть с парализовавшимся было органом речи?

Мы думаем, мы ощущаем, мы видим, мы верим, мы дерзаем: наступает новая фаза в жизни России. И должна в ней начаться новая созидательная работа. Уже потому, что этого требует жизнь, всеми своими гранями, в особенности, черными, отрицательными, губительными. Этого требует Россия,

наша родина и не на любви-ли к ней и не во имя-ли этой любви к ней,— мы должны об'единиться для совместной работы по созиданию нового уклада?

Это уж младенческая истина, что такая работа требует для своего выявления и для своей плодотворности соответствующих правовых норм и форм. Нам приходится опять возвращаться к старым временам и повторять прописные истины, цитируя из хрестоматий хотя бы вдохновенное произведение Константина Аксакова, написанное еще в 1853 году—60 лет тому назад и свежее до наших дней:

«Ты чудо из божьих чудес,
Ты мысли светильник и пламя,
Ты—луч нам на землю с небес, ты—нам человечества знамя.
Ты гонишь невежества ложь; ты вечною жизнию ново,
Ты к свету, ты к правде ведешь, свободное слово!»

Будем учениками истории. Мы знаем, что в мученической истории русской общественной мысли никогда не было золотого века и мало роз свободы было на нашем ложе. В сплошном тумане и мраке, в густом дыму реакции приходилось ей жить, и все таки работать, созидать, действовать, влиять, заражать. Не смотря ни на что, мысль работала. А разве эта работа пропала, разве она не была ценнейшим камнем в фундаменте русской свободы?

Ни бездействие, ни добровольное кладбищенство никогда не были присущи русской мысли. И 100 лет тому назад, и 75, и 50 лет тому назад были страшные времена для русской печати и русской политической мысли. А все же огонь горел. И огонь этот заставил, наконец, признать самодовлеющую ценность свободы мысли и печати, как высшего блага общественного.

И старая интеллигентная Россия всегда помнила мудрое изречение Мирабо:—«препятствия нам кажутся большими только потому, что мы стоим пред ними на коленях».

А Петроград должен стать естественным центром этой новой работы мысли на всех ее поприщах и во всех формах ее проявления. В северной столице насчитывается 205 ученых учреждений, высших учебных заведений, музеев, обсерваторий, библиотек и т. п. Ведь все эти учреждения, общества, организации, соединства—все это гнезда культуры, гнезда работающей интеллигентской мысли, органы ее об'единения. У них есть свое богатое прошлое, славные традиции. Были времена, когда, не отрываясь от своей научной базы, они входили всею своей работой в широкое общественное русло и привносили свои ценные дары в общий освободительный труд.

Слишком ответственны теперь времена, чтобы можно было бы оправдывать какую бы то ни было спячку. Слишком ярко всегда чувствовала интеллигенция Россию, чтобы забыть теперь про нее. И понимая, что для рассеяния тумана нужно время, мы верим с дерзновением, что русская интеллигенция сбросит с себя старую ветошь апатии и примется за новую острую аналитическую работу над созиданием новых идейных ценностей.....

Ник. Ашешов.

Молодежь.

Молодежь всегда занимала видное место в человеческом обществе; на ней, как на фотографической пластинке, отражалась эпоха, события, настроения; она резко реагировала на все совершающееся в стране, не щадя сил, молодости, самой жизни, готовая всегда на самопожертвование; конечно, лучшая часть молодежи. Мы все знаем это хорошо: все политические события прошлых лет, революция 1905 года, война, февральская и октябрьская революции, показали нам это. Но все это исторические моменты, вызывающие героические поступки. А что-же представляет собою эта молодежь в обыденной жизни, в повседневной обстановке в настоящие тяжелые годы. Как и чем она живет?

Лично я знаю, главным образом, женскую молодежь, да и вообще в настоящее время женской молодежи больше, значительная часть молодых мужчин разбросана по разным фронтам; но и она постепенно возвращается, остается на месте, живет и действует, конечно, та часть ее, которая уцелела в буре времени.

Счастье страны, ее благосостояние зависит главным образом от умственного уровня и сознания гражданского долга ее населения, а потому вся наша надежда, все упование покоятся на детях и на молодежи; сейчас главным образом на молодежи, как на ближайших строителях жизни в потрясенной и перевернутой до самых корней стране. Повторяю, что знаю преимущественно женскую молодежь, но образованная и даже просто хорошо грамотная женщина, быть может, нам нужна сейчас в первую голову, ибо она является матерью, воспитательницей, учительницей, лекторшей,—несущей первые основы умственного образования и среди детей, и среди взрослых; является тем бродилом, без которого не может образоваться вино.

Необразованный человек в самом обычном смысле слова, без воспитанного ума, без привычки размышлять и решать, не может быть человеком твердой воли, не может быть достойным гражданином своей родины. Мы не говорим, конечно, об учености, а о самом, хотя бы элементарном, но основательном учении. А что неудержимое стремление к образованию, жажда к знанию широко разлиты среди русских людей всех возрастов, начиная от детей, едва начинающих говорить, и кончая стариками,—мы это узнали за четыре года революции. Эта жажда была, конечно, и раньше, существовала всегда, но она была задавлена всем строем нашей жизни и вырывалась, как извержение, только тогда, когда сила ее превышала давление и преодолевала все препятствия.

С революцией двери высших учебных заведений, как и двери школы, о чем мы уже говорили, широко распахнулись для толпы, и аудитории наполнились и переполнились слушателями и учениками всех возрастов, всех сословий, всякой подготовки и неподготовки,

вплоть до безграмотных. Пошла та-же путаница, та-же неразбериха, как и в школах, а, может быть, еще и большая. Профессора и преподаватели стали втупик и пришли в недоумение: как учить и чему учить такую разношерстную компанию.

Но время взяло свое, из хаоса стал образовываться возможный при таких трудных условиях порядок, и учение так или иначе наладилось: молодежь учится или по крайней мере показывает, как страстно она хочет учиться.

Я близко стою к одному из Высших Педагогических Институтов Петрограда, преобразовавшегося во время революции из одного давно существующего высшего педагогического учебного заведения. В него, кроме петроградской молодежи, стекается, как это было и раньше, молодежь со всех концов России. Прежде те счастливцы, которым выпадала на долю счастливая возможность учиться, преодолевали массу препятствий всех родов, начиная с борьбы с собственными родителями, кончая баррикадами, устраиваемыми полицией, так называемой политической благонадежностью и национальностью (процентной нормой) раньше, чем попадали в святилище науки. Но все-же, пройдя все этапы добывания права на учение, они могли сесть в поезд железной дороги и приехать в столицу. Теперь и эта сторона стала далеко не всегда доступной и часто небезопасной.

В 1921 году осенью мне рассказывали молоденькие девушки, приехавшие откуда-то из Витебской губернии, свои приключения во время пути. Слушая их, мне казалось, что я живу по крайней мере два века тому назад. Часть пути им нужно было проехать на пароходе; пароход не ходил и неизвестно было, когда пойдет. Они достали лодку и пустились в плавание; плыли они шесть дней. С ними были мешки с продуктами, которые они взяли с собой на зиму в Петроград.

— Мы боялись только *пиратов*,— говорили они мне;—пираты—это всякие отбросы из крестьян, - пояснили они,—занимающиеся грабежем; они устраивают засаду в лесу и подкарауливают прохожих и главным образом плывущих по реке (потому и пароход перестал ходить, что они и на пароход даже нападали); с нами были продукты, ну, конечно и деньги, а это, понятно, опасно.

Но им удалось счастливо пробраться; только раз на них начали нападать, швыряя в лодку тяжелые камни; но им удалось удрать, лишь один камень упал на дно лодки, задевши слегка плечо одной из гребущих. По пути им попался плывущий совершенно нагой труп; они задели его крючком, подтащили к берегу и, убедившись, что это мертвец, предоставили его воле реки.

Как-то, плывя близко от берега, они услышали стоны; стонал раненый мальчик—подросток, раздетый и ограбленный, так-же, как и труп, жертва пиратов, как рассказал девушкам раненый. Девушки взяли его в лодку, перевязали, как могли, довезли до ближайшего местечка и сдали в больницу. Наконец, они добрались до железной дороги.

Их было шестеро, все женщины, из которых старшей было двадцать три года, а младшей, семнадцать, и рассказывали они мне это спокойно, как вещь весьма обыкновенную.

— У нас все так ездят,—говорили они,—бывают несчастные случаи; мы, слава Богу, добрались благополучно, никого из нас даже не ушибли.

Есть в институте студентки с далекого севера—из мест за Вологдой, за Архангельском и дальше с Мурмана. Всем им до железной дороги приходится добираться на лошадях, и многие из них, не имея средств, добираются пешком. Есть у нас одна девушка, которая прошла двести верст от своей деревни до станции железной дороги!

Жажда ученья влекла ее в Петроград, несмотря на все препятствия. Ее мать, простая крестьянка, любящая дочь по своему, копит для нее деньги, но не дает ей копейки на ученье, не признавая его, желая, чтобы дочь осталась такой же крестьянкой, как она. В свое время, когда дочь еще девочкой ушла в другую, соседнюю деревню, чтобы учиться в школе, она прокляла ее, но потом простила. Девочка кончила школу, сделалась учительницей, но не в родной, а соседней деревне; наступила революция, докатилась волной и до ее деревни, и она, как своего рода Ломоносов, пустилась пешком в Петроград. Здесь она живет впроголодь в студенческом интернате, не получает от матери ни копейки денег и никаких продуктов, и учится изо всех сил.

Приезжающие в Петроград, командированные из провинций своими Отделами Народного Образования, до сих пор имели право жить в Студенческом Интернате при Институте и пользовались полным довольствием. Некоторые из командированных имели из своих Отделов помощь в виде продуктов (муки, картофеля), которые они от времени до времени получали с мест. Другие привозили запасы с собой из дому, возобновляя их поездками на Рождество, на Пасху, но были такие, и их было немало, которые жили исключительно на казенном пайке, питавшем их само собою понятно так, чтобы они только только не умерли с голоду. Большинство жило маленькими коммунами: в комнате, где помещалось четверо, шестеро—эти четверо, шестеро представляли собою коммуну, в которой все продукты соединялись вместе, и неимущий считался таким-же полноправным членом, как и имущий. На каждый день назначалась дежурная по питанию.

Несмотря на всю готовность лиц, стоящих во главе Института, идти навстречу студенткам в устройстве их внешней жизни, несмотря на все их хлопоты и заботы, жизнь в студенческих интернатах Института, считающихся все-же лучшими между интернатами других Высших Учебных заведений, была тяжелая. Главное, что мучило и мучит интернаток—это холод. Недостаток топлива—общее наше бедствие, а тут еще прибавляются хотя и прекрасные, полные света и воздуха, комнаты, но требующие много дров, и почти их неимеющие. К этому прибавляются еще плохо замазанные окна, никогда не отапливающиеся нижние помещения, замерзающие трубы водопровода и все от этого обстоятельства прекрасные последствия. В комнатах холод, в аудиториях холод, в кабинетах холод. В аудиториях приходится большею частию просиживать по пяти часов с часовым перерывом на обед, слушая лекции. Пальто не приходится снимать целый день, в пальто некоторые ложатся спать. Мыться приходится ледяной водой, и если-бы не прекрасная баня в учреждении, в которой раз в неделю большинство из студенток могло омыться и отогреться, в Институте были бы постоянные болезни.

Прибежищем от холода служит кухня. Кухня в самые холодные зимние месяцы является столовой, для некоторых спальней, вообще-же клубом. В кухне занимаются, в кухне ведутся самые интересные разговоры, возникают самые горячие споры. Что касается одежды, то добрая половина студенток одета недостаточно; всегда чего-нибудь не хватает: платья вообще мало, а в минуты жизни трудные приходится еще продавать кофточки и юбки. Сапожный вопрос—самый острый вопрос: некоторые, приехавшие из деревень, имеют валенки, городские обуты не по зимнему и большинство без сапог; перебиваются кое-как, изворачиваются: шьют кто как умеет из всевозможного матерьяла, шить из которого прежде показалось бы глупостью, подобие сапог, туфель, валенок.

Социального содержания, понятно, не хватало и не хватает теперь в особенности, и большинству из этой молодежи приходится подрабатывать. Кое-кто служил, но из-за сильного сокращения штатов

педагогическим трудом зарабатывать что-нибудь невозможно, так как утром и днем они заняты лекциями, служить где нибудь по той-же причине нельзя; зарабатывают главным образом случайным физическим трудом: осенью на огородах, зимою расчисткой снега—работа тяжелая и по напряжению, и по количеству отнимаемого времени и часто по расстоянию: нужно работать, не разгибая спины по восьми часов подряд и идти пешком от города верст по десяти и больше. На огородах работать выгоднее, так как там платят овощами и картофелем, за очистку снега платят всего сорок тысяч за восемь часов непрерывной работы, но делать нечего—деньги нужны. В последнее время стал практиковаться иногда новый способ заработка: набивание трубочек сахарина, за что тоже платят гроши, двадцать пять тысяч за сотню, и работать приходится по ночам, днем некогда. Чтобы набить такое количество, нужно часов пять непрерывной работы.

В таких внешних условиях живут эти молодые люди,—день их с утра до вечера является, собственно говоря, почти сплошным физическим мучением и, если-бы не внутренняя глубокая духовная энергия, толкающая их к жизни, они бы все умерли; слабейшие и умирают; слабейшие, но не слабые. Четыре года революции, четыре года почти нечеловеческих усилий, чтобы жить, показали нам, сколько внутренней скрытой силы заключается в каждом человеке и то, что мы при благополучных условиях считали слабым, сказалось сильным.

Если и раздаются порой жалобы со стороны некоторых из этих молодых героев (иначе их назвать нельзя) на то, что они устали, что они изломаны и не видят впереди ничего отрадного для себя, то это вполне понятно и случалось постоянно и раньше: молодости при всей присущей ей жизненной силе свойственен этот внутренний пессемизм, который проходит с годами, приносящими равновесие. Но они говорят это временами, и только говорят, а сами продолжают жить, переносить все тяжести невероятно тяжелой современной жизни, бороться с голодом, холодом и всяческими лишениями, почти не имея самых простых, невинных удовольствий и тянуться всем своим существом к духовной жизни, к приобретению знаний.

Они учатся. С утра переходят они из одной холодной аудитории в другую, с одной лекции на другую, выбирая самую маленькую комнату с печкой и сжигая в ней несколько поленьев, получая не тепло, а лишь иллюзию тепла. В кабинетах пальцы стынут от стужи, но они работают, сколько возможно. Нужно готовиться к лекциям, просматривать прочитанное, сдавать зачеты, писать рефераты. У себя в комнатах заниматься совершенно невозможно: опять таки выбирают наиболее теплую комнату, топят там печку и собираются большой компанией, сидя вокруг буржуйки прямо на полу, и занимаются. Но чаще всего это происходит на кухне, у оттопившейся плиты. Тускло светит лампа, повешенная высоко под потолком большой, высокой кухни.

У плиты, тесно сбившись группами, сидят девушки. Головы их близко одна от другой склоняются по нескольку над одной книгой, и слышно тихое чтение, почти шопотом, чтобы не мешать товарищам. Книг нет; по одной книге приходится учиться нескольким сразу, и она переходит из рук в руки, от группы к группе. Устанавливаются очереди зачетов, волей неволей приходится затягивать их сдачу. Читать вообще для себя некогда, и книги доставать трудно, но их все-же достают, и все-же читают; читают книги по педагогике, психологии, философии, литературе. Любители стихов переписывают их и заучивают наизусть; ноты приходится переписывать, нот совсем нет нигде.

Для практики приходится бегать по всему городу, а большинство из них без сапог. Прошлой зимой, чтобы сократить путь, некоторые бегали по льду через Неву в ветер и мятель и к весне были случаи,

что проваливались по колени в воду; а бегать приходилось далеко: и на Охту, и на Каменный остров.

В прошлом году в Институте функционировал районный клуб, где главное участие принимали курсистки. Клуб работал очень хорошо и много давал студенткам для души. Были разные кружки, в которых они принимали участие и помимо лекций приобретали и теоретические и практические знания: учились ремеслам, музыке, выразительному чтению. Особенно хорошо был поставлен курс слушания музыки. День, в который происходило чтение этого курса с музыкальными демонстрациями, ожидался с нетерпением, встречался с радостью и давал утомленным умам и душам высокое наслаждение и отдохновение. В этом году за недостатком средств район перестал субсидировать клуб, он закрылся, и студентки лишились многих необходимых радостей.

Если вы пойдете на любую лекцию, доклад, дискуссию, где бы они ни читались, большинство слушателей—молодежь и преимущественно женская. С какой жадностью слушается все и с каким жаром обсуждаются вопросы выслушанного на той же кухне в Институте. Мысль бьется, чистая мысль, чистое знание.

Многие из студенток имеют слабую подготовку, особенно вышедшие из школ новой фармации, последних трех лет, когда так трудно было учиться в школах, переживаемых тяжелую ломку; они чувствуют это и с жадностью набрасываются на все, чтобы пополнить пробелы, чтобы сравняться с товарищами и не отставать от них. Они урывают минутки и занимаются грамматикой, алгеброй и даже просто арифметикой; при сильном желании учиться они побеждают и эти трудности.

Мне рассказывала ассистентка одного профессора химии в университете о своих занятиях со студентами университета первого курса. И там преобладающее число таковых—женщины.

— Те два дня, которые я провожу с ними в лаборатории,—говорила она мне,—одни из самых радостных дней теперешней моей жизни; когда я прихожу туда утром, как бы рано я ни пришла, уже стоит очередь, дожидаясь меня, с вопросами, с отчетами, с запросами новых заданий. С каким вниманием относятся они к каждому моему слову, как старательно и честно проделывают каждую деталь работы, думают, наблюдают! Половина из них с недостаточной школьной подготовкой, что, конечно, мешает им, тормозя их успехи, но как стараются они побороть эти препятствия, всякий раз тщательно расспрашивая, что им надо выучить, что прочесть, чтобы легче было справляться с задачами.

Если бы их только получше учили в школе, как бы много они успевали!

На разных курсах недельных, месячных, годичных—сколько бы их ни открывалось, всегда были и есть слушатели; и все народ занятой, все работники, служащие в разных учреждениях, большею частью педагогических; многие из них после тяжелого дневного труда, особенно если работа была с детьми, находят в себе силы приходить вечером на курсы, часто издалека, с окраин города, пешком, некоторые приезжали из окрестностей, оставались где-нибудь ночевать и рано, рано утром на другой день отправлялись обратно.

Правду сказал американец в начале революции, приехавший в Россию, что она, Россия, производит на него впечатление огромной школы, в которой все учатся интенсивно без учителей. Да, конечно, без учителей, ибо настоящих учителей на всю эту жаждущую учения массу не хватает, их так мало. Происходит истинное самовоспитание и самообучение, учителя дают им лишь намеки, указания.

Кто знает, быть может, от такого учения, если только его упорядочить, будет больший толк, чем долгое хождение на помочах у

профессоров. Учиться надо всю жизнь, но в эту жизнь надо вступать пораньше, а у нас не так еще давно, слишком долго готовились и слишком робко вступали в умственную практическую работу; прикасались к ней рано только те счастливцы, которых гнала к ней нужда и заставляла зарабатывать хлеб чуть не с детства.

Мне приходилось слышать от девушек, бывших прислуг, портних, слушающих лекции на рабочем факультете, что они хотят теперь непременно быть «образованными». Под этим словом еще недавно у таких-же девушек, прислуг, отпускаемых иногда своими господами по воскресеньям в клубы для работницы, которых было, кажется, всего два в Петербурге и то под строгим контролем полиции, подразумевалось стать похожими на своих барынь, одеться по-модному и уметь писать письма; теперь-же, когда я спросила, что это значит быть «образованными», одна из них сказала:

— А вот географию надо знать, да еще алгебру,— а другая ответила:

— Да как-же можно быть образованной без грамматики, я вот теперь синтаксис прохожу и совсем по другому книжки понимаю, а когда пишешь, над каждым словом задумываешься, и так чудно кажется, что и слова друг другу, как люди, подчиняться должны.

— Не хочется идти назад, в нашу темноту,—говорила мне третья,—пусть я буду работницей, как и прежде, только жить хочу с образованными.

Кроме ученья, молодежь требует и веселья. И эта молодежь тоже ищет веселья и веселится как может. Как и прежде, в старые годы студенчества и в недавнее еще время, так и теперь они бегали по театрам, получая там и сям билеты; сейчас театр стал недоступным безденежным людям, еще недоступнее, чем прежде; у курсисток нет денег ни на что, они голодают, но умудряются все-таки попадать иногда в театры; заработают, чистя снег или на сахарине и, жертвуя хлебом, берут билеты в театр; как и прежде, некоторым удается проскочить «зайцами».

—Знаем, что нехорошо,—говорила мне одна,—да уж очень хочется; мы втроем на два места попали, удалось проскочить.

Ходят на вечера в разные учебные заведения: гладят кофточки, приводят платья в порядок, шьют поспешно туфли, завиваются—все на той-же кухне. Ведь теперь, чтобы пойти на бал, нужно из тряпочек сшить самостоятельно себе бальные туфли и каждодневное носильное платье разными ухищрениями превратить в бальное. Как ни бедно было студенчество в мое время, в восьмидесятых годах, а все-же за рубль двадцать пять копеек, даже за девяносто пять копеек можно было купить пару открытых туфлей. Теперь-же приходится больше воображать, что на ногах туфли. Но это не мешает им танцовать с упоением.

Устраивают и сами вечера по разным поводам; большие праздники, как Рождество, Новый год, не остаются неотмеченными: собираются продукты, кто что может и устраивается общий обед или ужин в одной какой-нибудь комнате, или лучше всего на той же гостеприимной кухне; украшают столы зеленью, не ленятся ездить за ней за город, приглашают гостей и веселятся,—едят суп из селедок и кашу, пьют тосты жидким «советским» кофе, поют, играют в разные игры и танцуют. И делаются тогда похожими на милых детей; и так хочется дать им немножко больше того скудного матерьяла, без которого невозможно веселье: тепла, света, не роскошных, но хорошеньких платьев, изящных туфелек, ленточек, сластей, много сластей.

Устраивают вечера с драматическими выступлениями своими силами; все приготовляют сами—и костюмы, и обстановку, и угощение; все не только скромно, но скудно, и все сопряжено с большим трудом:

все надо самим устроить, иногда таскать очень тяжелые вещи на порядочное расстояние, а потом все и убрать, а завтра идти на лекции и позаботиться о собственной еде, но теперь все так, и это вошло в обыденный жизненный круг, но зато все задушевно тепло, а потому весело. «Скажите, хорошо было, правда, хорошо?» спрашивают они по детски, блестя глазами. И правда хорошо, и чувствуешь нежную симпатию к их молодой жизненной силе и глубокое уважение к стойкости и спокойствию, с которым они переносят трудности существования.

На плечи этой молодежи легла большая тяжесть; самый расцвет их жизни, молодость, попала в небывало трудную эпоху нашей истории, им приходится вступать в жизнь, полную лишений и препятствий, жизнь, ставящую перед ними беспощадное требование тяжкого труда, не покладая рук, без отдыха, быть может, без ясного результата, с одной надеждой все-же увидеть этот результат.

И те, которые верят, которые так геройски переносят все, чтобы жить и работать во имя будущего, без сомнения, увидят загорающиеся лучи новой светлой жизни нашей родины.

Совершить геройский поступок и даже умереть легче, чем быть незаметным героем каждого серого, тяжкого дня, с сознанием исполнения долга и чувством собственного достоинства совершающего свою каждодневную, незаметную, часто тяжелую работу с спокойствием и стойкостью.

Такие герои—фундамент, без которого не может строиться ни самый простой дом, ни дворец, ни храм. Любующиеся дворцом и храмом, конечно, забывают о фундаменте, но мы должны помнить о нем, никогда не забывать и заботиться о нем, ибо если не будет фундамента, или он будет плохо заложен, то дворец и храм превратятся в детские домики, построенные на песке.

Ю. Фаусек.

„Рабфаки“ и студенчество.

— Во вторник вы не читаете лекции?—спрашивает меня в университетском коридоре одна из моих слушательниц.

— А что?

— Да ведь опять общестуденческая сходка.

И в этом «опять» слышится что-то похожее на отчаяние.

Я понимаю это отчаяние: достаточно знаем мы про эти сходки, где встречаются два чуждых мира: студенты основных факультетов и «рабфаки». Знаем, что каждый раз дело начинается с вызывающих слов и быстро переходит во враждебные демонстрации. В итоге—ряд новых взаимных оскорблений, новая злобность. После каждой такой сходки, пропасть, разделяющая эти два мира, становится все шире и глубже.

— Зачем они так презирают нас,—с грустью и болью говорит мне «рабфак».—Мы конечно, очень хорошо знаем, что мы не получили такого образования, как они, и даже, кончив рабфак, будем знать меньше их. Но ведь мы же всячески стараемся стать культурными людьми, учимся, работаем, сколько сил хватает. За что же отталкивать нас, сторониться от нас, как от зачумленных.

— Они нас презирают,—горячо говорит универсант,—ругают нас буржуями, не хотят даже верить, что среди нас есть дети крестьян. Мы—буржуи? Это они получают привиллегированные пайки, а нас с пайков систематически снимают, и почти все время у нас уходит на погоню за заработком, чтоб не умереть с голоду.

Тут—целая цепь недоразумений.

Основную массу современного студенчества составляет молодежь, поступившая в высшую школу за последние два года. В течение долгих лет европейской войны и нашей революции ряды студенчества почти не пополнялись, а из поступивших до войны осталось в школе сравнительно немного. И рядовой современный студент очень далек от того, чтобы гордиться своей ученостью. Наоборот, от теперешней молодежи чаще всего слышишь скромное признание, что средняя школа выпустила их совсем неподготовленными для академических занятий, и к этим признаниям иногда присоединяется робкая жалоба на то, что в университете они чувствуют себя растерянными и встречают слишком мало снисхождения к своей неподготовленности со стороны старых профессоров, привыкших к более высокому уровню аудитории. Студенты сами ощущают потребность в широко поставленных занятьях особого типа, промежуточных, подготовительных к строгой и требовательной работе высшего типа и, к сожалению, встречают мало отклика. О каком же презрении к «рабфакам» может быть речь у этих славных юношей и девушек, жаждущих ученья и не знающих, как за него приняться по настоящему. И если в самом деле, до «рабфаков» доносятся какие-нибудь презрительные отзывы, то не из массы молодого студенчества идут они точно так же, как огульное зачисление всего студенчества в разряд «буржуев» чуждо массе «рабфаков».

4*

Те образчики рядовых «рабфаков», что попадали в мое поле зрения, совсем не похожи на тип, носящийся перед воображением огорченного универсанта. Это все народ скромный, духовно крепкий, работящий, искренно относящийся к свету. Тип, должен сказать, необычайно привлекательный и многообещающий. Их основной интерес—в приобретении знаний, на которые они набрасываются прямо с жадностью, пламенея самой чистой, даже восторженной верой в спасительность и величие науки. Эта вера помогает им, людям уже взрослым и жизненно зрелым, упорно сидеть над заданиями, которые своей сухостью способны отпугнуть школьника-подростка и не всегда ставятся перед ними с достаточным педагогическим пониманием. Они выносят по восьми часов в день напряженнейшей школьной работы, несмотря на обстановку, далеко не обеспеченную.

Матерьяльное положение «рабфаков» вовсе не так блестяще. Вся система их занятий совершенно исключает возможность постороннего заработка, а казенное обеспечение—скудно, при том же и неверно. Вот вам «рабфак», который вынужден был последний свой летний отдых использовать на то, чтобы пробраться на юг и раздобыть там несколько пудов муки. Но ни одной горсти ее он не мог взять себе, потому что у него на руках семья, которая живет вне Петрограда и без его помощи не может существовать. Изнуренный продовольственной экспедицией в телячьих вагонах со всеми современными удобствами, он вернулся, чтобы продолжать занятия, буквально без куска хлеба и без гроша в кармане. А тут его встретила новость: он, как и его товарищи, оказались снятыми с государственного снабжения, на том основании, что завод, его командировавший, должен ему выплачивать средний заработок, пока он учится. Но пока завод раскачался выслать хоть что-нибудь, прошло несколько месяцев, «рабфак», как и его коллеги, сидели «буквально без ничего»,—и все-таки продолжали усердно учиться. Как они умудрились не умереть с голоду за эти долгие месяцы,—это их секрет.

Классового отталкивания от квалифицированного студенчества у рядового «рабфака» нет, но он в недоумении останавливается перед проявлениями враждебности со стороны студентов.

— Нас теперь причислили к NN институту,—рассказывает один «рабфак»... Объявили нам, что тогда-то назначена сходка. Пошли мы чуть не все поголовно, думали познакомиться с новыми товарищами. А только что сходка началась, вышел один студент и сказал, что тут де пришли неведомые и посторонние элементы, и студентам тут оставаться не к чему. И сразу ушел, а за ним пошло прочь много студентов, и они устроили свою особую сходку в другой аудитории. Так ничего и не вышло. То же самое и в ноябре было, как мы во Дворец Искусств ходили.

А про заседание ноябрьского «сецессиона», состоявшееся после ухода из Дворца в Физическом Институте Университета, его участники и до сих пор вспоминают, как о чем то безмерно тягостном, кошмарном.

Недавно одна молодая, искренняя душа поведала мне в университете свою затаенную, робкую мечту.

— Нам иногда кажется, что все это происходит от того, что и мы, и они еще не разобрались ни в себе, ни во всех делах, и своих слов еще не нашли. Потому и за нас, и за них говорят другие,—организованные верхи, и наши, и ихние. Мы вот часто чувствуем, что за нас говорят не то, что надо. Ведь, может быть, и у них то же самое. Мы только не можем ничего возразить, потому что нам все так не ясно. А у тех, что говорят, все так определенно, и они действуют смело, и они привыкли выступать. Я вот все думаю, что если бы можно было встретиться с простыми рабфаками— совсем по-просту,—вот с теми, что так же молчат,—как и мы. Встретиться бы с ними и поговорить бы откровенно,—наверное мы бы до чего-нибудь дотолковались. Может быть, и не дотолковались бы сразу, но хоть поняли бы, что мы не враги и можем вместе разбираться и искать. А так, как теперь,—это совершенно невыносимо. Столько злобы, и так безтолково, и так ненужно. Но вот вопрос: как это сделать? Мы сами не умеем организоваться, а помочь нам—некому.

Уже не в первый раз приходится слышать от студентов, что для них эта рознь непонятна и тяжела. Им хотелось бы разбить лед, но молодежь бессильна перед старыми привычными ораторами, которые в этом отношении не отражают настроений, нарождающихся в студенческой массе. Встречное течение есть и среди «рабфаков», но и оно пока что парализуется аналогичными препятствиями. Положение кажется безнадежным, атмосфера братоубийственной вражды отравляет молодые души, а между тем реального основания для такой непримиримости нет, и держится она только на том, что массы обоих лагерей, разделенные искусственной преградой, не знают друг друга и не могут узнать, не соприкасаясь в действительной жизни вне нарочито нервной атмосферы сходок.

Если бы хоть в одной точке окопы были прорваны, если бы хоть небольшая группа студентов и «рабфаков» смогли встретиться непосредственно, лицом к лицу, то они быстро научились бы взаимному уважению и доверию. Они бы сразу нашли ряд общих интересов, матерьяльных и культурных, убедились бы, что общение между ними одинаково полезно для обоих лагерей. Культурный рост «рабфаков» много бы выиграл от единения со студенческой средой, а студенчество выиграло бы не меньше, приняв в свою среду этих закаленных людей.

Профессор.

История одного романа.

Есть в русской жизни один роман—длительный и запутанный, как вся русская жизнь, полный неожиданностей и разочарований, сменяющихся внезапными „очарованиями“, как и полагается в романе... Роман, между нами говоря, достаточно отзывающий тем обывательским душком, каким, несмотря на все хорошие слова и исполненные гражданского чувства монологи с биением себя в грудь и без оного, в значительной степени пропитан тот слой русского населения, который именуется интеллигенцией.

Роман этот тянется давно, едва ли не с восемнадцатого столетия. Действующие лица его приняли все меры, чтобы то, что называется qui pro quo. росли и множились, принимая иногда форму гипертрофированного анекдота, и; как снежный ком, катящийся с горы—самый роман рос, ширился, запутывался все более и более и, наконец, достигнув момента революции—ударился о действительность—суровую и неприкрашенную, выдвинутую огромным переворотом всей страны—и, рассыпавшись, обнаружил всю путанную сеть лжи, обмана, самообмана, очарований и разочарований...

Словом—пришел к своей развязке, как многие русские романы—иногда столь запутанные, что только революция могла рассечь гордиевы узлы их...

Роман этот—старый, как первое проявление того, что называется интеллигенцией, и свежий, как принесенная зарубежной газетой речь какого нибудь «селянского министра», находящегося теперь в положении адмирала швейцарского флота.

Роман вообще, а русский в частности—независимо от того, переживается или пишется он—имеет одну особенность: он оперирует не действительными величинами, а в большинстве случаев призрачными, „выдуманными“, и иногда скромный куст действительности, под влиянием особого рода гипноза, принимает очертание дремучего леса. Конечно, отклонение маятника в одну сторону тотчас же влечет размах в другую—и потому легкая реальная канава превращается в пропасть, а равнодушное слово „предмета“ ранит, как черная ненависть...

Увы!—таково свойство романов, или, вернее, тех, кто их переживает. И в этом свойстве есть одно большое достоинство. Имя ему молодость... Кто может остро и страстно переживать все это—тот, значит, молод. И, значит, перед тем большая, яркая и широкая жизнь, а это уже много, если не все...

Русский роман между интеллигенцией и народом—едва ли не самый сложный и запутанный русский роман. Великая эпопея, развернутая гениальным писателем, роман между Александром I и Наполеоном, кажется простой и прямолинейной историей перед этим романом, как проста и примитивна эпопея любви наших прабабушек перед нервно-истерическими, напряженными и противоречащими чувствами героини современного романа. Может быть, только один роман сравняется в своей сложности, проклятий, перевивающихся благословениями, извечных стремлений и желания оторваться, выйти из под власти, освободиться—завершить тысячелетнюю борьбу окончательной победой: это роман самого мужика с землей. Но это роман столь большой и сложный, что требует для своего выявления нового гения. Мы его пока не знаем.

Если сделать попытку, бегло пересмотреть все перипетии романа между интеллигенцией и народом даже за последние десятилетия—вся наша дореволюционная жизнь покажется такой страшной и далекой, что человек приходит в изумление,—неужели было действительно так?. Эпоха народничества, сменившая славянофильское течение, когда народ-богоносец, народ-носитель „света с Востока“, являл собою непререкаемый авторитет—в свою очередь, сменилась мучительно-напряженным исканием Глеба Успенского. Огромная литература, порожденная этим столь же прекрасным, как и несчастным писателем, создала целое течение в русской жизни—в ее интеллигентском слое. К восьмидесятым годам течение это спало, и сам Успенский под конец своей литературной деятельности отметил это спадание чудесным очерком „Наконец, нашли виноватого“.

— «Мужик, мужик, мужик. Нет—довольно. Дайте и нам, позвольте и нам: довольно, довольно, довольно»...—вопиял герой названного очерка, этот, по выражению Успенского—интеллигентский «студень», сам по себе холодный, как лед, и равнодушный, как мертвая рыба, по внешней консистенции своей столь чувствительный, что даже отзывается дрожанием своего желе на тяжелые шаги прислуги. Это «довольно» распространилось далеко в русской литературе и, конечно, жизни.

Осторожный холодок исследовательского глаза Чехова остановился на мужике, свидетельствуя охлаждение в старом романе одной стороны—еще не полное, еще чувствующее кое что в «здоровом стержне» народной жизни, но уже отделявшее себя стеклянной стеной взаимной розни.

После этого роман пошел уже рядом непрерывных семейных сцен. Удар 1905 года и его не совсем ожиданные раскаты в деревне, заставили интеллигенцию завопить о том, что народ ее «предал в самый критический момент», что самый народ—не дорос,—и как выявление этого—появилась нашумевшая в свое время книжка Родионова «Наше преступление». Описывая темноту, дикость, звериную жестокость и рабскую подлость крестьянина, автор делал в предисловии реверанс перед общественной Россией, бросив несколько весьма необязательных для всей книги слов о том, что это же, мол-де «наше преступление». В данном случае он только напомнил того чеховского офицера, который, говоря о красотах Пушкинского стиха, привел в доказательство два стиха из Лермонтова. Дело не в этом, а в том, что нововременская книжка Родионова выдержала несколько изданий и стала своеобразным настольным евангелием, оправдывающим рвущуюся к разводу сторону...

За Родионовым уже послышался другой голос—более авторитетный и по художественной сущности своей более убедительный. Сначала несколько рассказов, потом целая книга, так и озаглавленная «Деревня» пытались убедить нас, что тот самый «ён», которому до сих пор полагались чин и почитание,—по существу—хам, мерзавец, грубая скотина и прирожденный вор и убийца. Обиженный дворянский басок одного из наиболее талантливых, свежих и ярких писателей сердито жаловался на мужика, обижался его тупой темнотою и свидетельствовал, что момент окончательного разрыва долго тянувшегося романа наступил. Убедительность, с какою И. А. Бунин выговаривал все это, его художественное дарование сыграли немалую роль в окончательном охлаждении, и—помнится—присноапамятные «Вехи» не оставили этого без внимания.

Роман, казалось бы, был кончен—даже бракоразводный процесс завершен—если бы в русской жизни не осталось одной струйки, упорно, наперекор стихиям, остающейся в старом русле. Струйка эта, возглавляемая впоследствии «селянским» министром В. М. Черновым, по существу своему только «растекалась по древу», «тянула старую канитель»—какая обычно бывает у русского интеллигента перед разводом, когда непонятый муж одиноко выпивает два графина водки в кабачке, плачет об обиженном чувстве своем на груди у ресторанного официанта, потом у дворника, советующего «быть потише»—заканчивающаяся в убогой каморке жрицы любви, где он в жилете, с развязанным галстуком резонерствует пьяным заплетающимся языком, бия себя в смятую на груди рубашку.

Черновская канитель имела ту же самую подоплеку, как и весь столь неудачный роман: люди видели не то, что есть, а—как и полагается в романе—то, что им *хотелось* видеть.

Так всегда бывает в романах—написанных или переживаемых—и, как было указано выше—в этом, может быть, нет ничего предосудительного или смешного: это молодость, в данном случае молодость всей страны. Но революция—это уже акт сознательной ответственности за себя, за свое будущее.

Был один момент, когда ее рука, отдавшись воспоминаниям юности, приостановилась—это тот самый момент, когда все акушерки влюбились в «селянского» министра, а он сам пытался сделать умное лицо на министерском кресле...—Но революция—и в этом ее грубая жестокость—всегда правда, и только правда...

Она не любит обмана или самообмана—и исписанные еще не установившимся почерком страницы—сей вещественный знак невещественных отношений—полетели, рассыпаясь, за форточку, а селянский министр, в свою очередь, полетел кувырком с министерского кресла. .

Когда люди, подчиняясь инстинкту самосохранения, пытаются, несмотря на страдания и жертвы, кровь и смерть, прорваться к новым формам жизни—они не могут оставить ложь,—пусть самую красивую и «благородную» в обиходе своих взаимоотношений. Иначе они были бы идиотами и сумасшедшими. Страна в одну пятую земного шара, которую Петр I называл частью света («Европа, Африка, Америка, Россия, Азия...») не может быть ни кретином, ни сумасшедшим; она перестала бы существовать. Она здорова, обладает здоровым инстинктом—и доказала это своей революцией. И поэтому она не могла оставить освященную десятилетиями ложь обсахаренного, премудрого двуликого януса, с одной стороны, Ванюшки-дурочка, который оказывается всегда умнее всех, с другой—богоносца, несущего свет с Востока, смиренномудро дарящего миру свое «тае, не по Божьи»....

Она сурово и резко—как все, что она делает—выбросила весь этот иногда прекрасный, иногда трогательный, иногда нелепый, иногда жестокий материал—результат эмоциональных восприятий—и, так как сама по себе она сухо националистична, подчинена столь же незыблемым законам, как природа—ибо она часть ее—коротко и просто сказала:

— Он такой же, как и ты, потому что сама я—часть его, как и часть тебя. Он не похож на тебя, да; он имеет свое мировоззрение и свою культуру. Не делай с ним той же ошибки, которую ты всегда делаешь с природой: ты очеловечиваешь ее, когда сам—ничтожная пылинка в ней. У тебя море смеется, заря улыбается, листья шепчутся, звезды плачут... В круг своих узеньких, крохотных чувств ты замыкаешь мироздание, вместо того, чтобы раствориться в нем и обогатиться им...

— Не делай этого и с ним—не мерь его своим куцым аршином. Не переноси свою ломанную жеванную психологию на него, как это ты делаешь с лошадью или зайцем, собакой или слоном. Он живет, подчиняясь своему миропониманию—от этого у него и своя, не похожая на твою—культура. И не лезь ты к нему со своими «достижениями».

— Что нужно—он у тебя сам возьмет, как взял право возвысить свой голос на исторической арене—а ты, если его не понимаешь—изучай. Подойди ближе—и изучай, изучай так, как умеешь изучать—наблюдением, опытом, обобщением. Не делай скорых выводов, а терпеливо смотри и стой не на эмоциональном восприятии, а на строго научном методе.

Учись, старайся понять, не лезь со своими об'ятиями и не предавай проклятию, не обливайся слезами об его измене на груди какого нибудь заграничного дворника, как почтенные Бунины, Толстые, Яблоновские, Бурцевы et tutti quanti—а просто и скромно дай место рядом с собой и отвыкни гадать, отрывая лепестки:—«любит—не любит, плюнет—поцелует, к сердцу прижмет—к черту пошлет....—»

В. Муйжель.

ДИСКУССИОННАЯ КАФЕДРА

От редакции.

Наш журнал стремится стать органом творчески ищущей интеллигентской мысли, которая в плоскости, лишенной страстей политической злободневности, попытается спокойно исторически осмыслить пережитое, уяснить себе поучительные уроки и предуказания революции, сделать из них соответствующие выводы. Но к признанию верховенства идеи революции, к утверждению новых социально-бытовых форм представители нашей интеллигенции приходят разными, иногда довольно сложными путями. Эволюция, проделываемая каждым из них в эту сторону, окрашена в самые разнообразные суб'ективные цвета и оттенки. Не выявить всего этого многокрасочного спектра настроений, подходов и оценок,—значит, в сущности не вскрыть глубокого процесса кристаллизации новой идеологии.

Журнал, таким образом, в известных внешними обстоятельствами допустимых пределах, должен стать дискуссионным, тем более, что того же требуют широта наших исканий и отказ от всякой обязательной и наперед поставленной догмы.

Точка зрения нашей группы („Новая Россия") в достаточной мере выявлена и будет выявляться впредь на страницах журнала. Наряду с этим в отделе „Дискуссионная кафедра" будет предоставляться место сторонникам и иных воззрений, оформленных или лишь оформляющихся для отдельных интересных оценок и обобщений, не укладывающихся в намеченное русла. Этот перекрестный обмен мнений позволит журналу, по мере возможности, отображать целиком и полностью все мучительные искания и попытки социально-этического и историко философского уразумения современности.

В первом номере журнала в отделе „Дискуссионная кафедра" мы печатаем полученную из Парижа статью проф. С. С. Лукьянова, одного из шести авторов сборника „Смена вех".

Мысли о революции.

Воля масс является неоспоримым, для всех очевидным двигателем исторического процесса в годы и десятилетия великих исторических кризисов, в эпохи сокрушенных религиозных, правовых, социальных и национальных отложений прежней творческой массовой и индивидуальной энергии.

Какие бы лозунги—социальные, религиозные, моральные—ни стремились охватить массовое революционное действие и придать ему сознательный, идеологический характер,—революция всегда и всюду преследует одну цель, бывает вызвана одной причиной: жаждой лучшего, материально более обеспеченного настоящего, или—что одно и тоже—ненавистью к непереносному злу прошлого.

* * *

Лозунги вождей, признанных таковыми самой революцией, дают одновременно диагноз социальной болезни, вызвавшей революцию, метод ее лечения и предначертывают те условия дальнейшего режима, при которых данная социальная болезнь не будет грозить постоянными рецидивами.

И в трех отношениях политический врач может ошибиться при исследовании и лечении своего больного: он может ошибиться при постановке диагноза болезни, при определении метода ее лечения и, наконец, при назначении дальнейшего режима.

Диагноз, данный большевиками—коммунистами социальной болезни, раз'едающей не только Россию, но и весь мир, говорил: основной причиной всех социальных и политических зол является ничем неограниченное, ибо «священное», *право собственности*. Метод лечения—мировая социальная революция, иначе говоря, насильственное сокрушение этого права руками тех, для кого оно было лишь правом чужой собственности. Дальнейший режим—всемирное братство трудящихся с коренным отрицанием права собственности, как своей, так и чужой.

Что диагноз болезни был поставлен правильно—против этого вряд ли серьезно кто нибудь станет спорить. Расхождение начинается при решении вопроса о методах лечения: эволюционном или революционном.

* * *

Мировая социальная революция, в форме одновременного во всем мире кризиса, еще не пришла. Между тем, только устранение во всем мире «права собственности» оправдало бы полностью методы коммунизма в России.

Частичная социальная революция—русская революция—неизбежно стала увлекаться *жаждой масс*, прежде всего крестьянских, *к лучшему, материально более обеспеченному, будущему* без мысли об окончательном преодолении социального зла. При этих условиях, полное уничтожение права собственности в России столкнулось в резком противоречии с правом на «чужую» собственность, завоеванным в процессе революции— под лозунгом отрицания всякого права собственности—русским крестьянством.

Отдавать хлеб городу даром или по цене, не соответствующей рыночной стоимости продуктов обрабатывающей промышленности, крестьянин не хотел, как не хотел он, с другой стороны, и отдать ту землю, которая оказалась в его руках после революции.

Окружение России странами с признанным «правом собственности», мировая война, а затем непрерывная гражданская война превратили города в исключительно потребляющие центры, почти ничего деревне не дающие. В результате—стремление крестьянства к признанию за ним «права собственности», хотя бы ограниченного, на землю и ею рождаемый хлеб с тем, чтобы в настоящем не терять, а для будущего накапливать.

Замедлившийся приход мировой революции заставил вождей русской революции отложить осуществление своей основной задачи—борьбу с мировым социальным злом, устремив все свое внимание на борьбу с язвами русской социальной и экономической жизни—на примирение крестьян и рабочих. Но отсрочка не значит—отказ. И что в данном случае была, именно, отсрочка, отражается на новом экономическом строительстве в России, с непререкаемой ясностью выступает во внешней политике советской власти.

* * *

Великая Французская Революция осознала себя в лозунгах: свободы, равенства и братства. Однако, реальным ее результатом было лишь установление такого социального и политического строя, благодаря которому противоречие между мечтой человечества о свободе, равенстве и братстве и реальным ее воплощением—экономической зависимостью, имущественным неравенством и иерархическим «правом собственности»—стало резко ощутимым, и потому таящим в себе залог новой революции.

Эта новая революция свершилась в России, и не ее вина, если на своем знамени она начертала старые слова, но наполнила их новым содержанием; новым—не по сравнению с тем, которым они обладали в конце XVIII-го столетия, а по сравнению с тем, которое им придал XIX век. Как в конце XVIII-го, так и в начале XX-го столетия, революция искала *реального* воплощения свободы, равенства и братства. Она не нашла его во Франции XIX-го века. Найдет ли его русская революция 1917 года.

* * *

По самому существу стоящей ныне перед Россией задачи, успешное ее разрешение предполагает мировое распространение основного принципа Русской Революции, т. е. уничтожения во всем мире «права собственности». Поскольку же перед нами изолированная, не выходящая за пределы русских государственных границ, социальная революция, и поскольку ее лозунги входят, благодаря этому, в противоречие со стимулирующими волю масс экономическими побуждениями, постольку приходится различать в русской революции ее местное национальное значение и ее значение, как фактора мирового прогресса.

Октябрьская революция, как явление национальное, создала культурные, экономические и социальные условия великого национального возрождения. В нем, однако, есть элементы—и при том чрезвычайно значительные—которые выходят далеко за пределы национального. Это, во-первых, новое понимание «права собственности», во-вторых, новое разрешение международной проблемы в направлении единого мирового союза всех трудящихся.

Поскольку оба эти элемента входят в содержание национального возрождения, они определяют собою—первый—так называемую новую экономическую политику, которую ошибочнее всего было бы считать возвратом к старому буржуазно-демократическому порядку вещей; второй, неизменную с первых же дней октябрьской революции национальную политику Советской власти, благодаря которой Русская Империя постепенно превращается в Российскую Федеративную Республику.

* * *

В чем же сущность нового понимания «права собственности», даваемого Русской революцией.

Отмена права *частной* собственности, декретированная еще в 1918 году, ошибочно понималась как полное уничтожение собственности. В действительности «отмена» сводилась лишь к тому, что единственным закономерным собственником становилось государство. Столь же ошибочно отдельные мероприятия новой экономической политики истолковываются, как восстановление полностью частной собственности. На деле же революционный принцип сохранен: собственником продолжает быть государство, но оно передает принадлежащее, по праву, ему одному имущество в пользование частным—физическим или юридическим—лицам, которые, как в управлении этим государственным имуществом, так и в извлечении из него выгод, ответственны перед государством-собственником. Помимо ответственности, держатели обязаны определенными выплатами в пользу государства за предоставленное им право пользования или владения. Наконец, передаваемое в отдельных случаях государством частному лицу полное право собственности все-же является не «естественным» и «священным», а всего лишь *государственно-целесообразным*; так, передача в собственность мелких промышленных и сельско-хозяйственных производств вызвана ничем иным, как стремлением примирить лозунг революции с основным стимулом, управляющим волею масс.

Эта новая теория «права собственности», которая требует еще своего точного юридического обоснования, уже сама по себе является огромным переворотом в сфере обычной капиталистической экономики, а, в результате длительного своего применения, должна будет значительно способствовать перевоспитанию и прежней буржуазной психологии.

* * *

Долгое время можно было сомневаться, устоит ли советское «право собственности» против давления мирового капитализма. И вот последние дни принесли в этом отношении утешительное известие. Под влиянием общего мирового социально-экономического кризиса, осложненного целым рядом политических противоречий, европейские державы и Япония, в лице своих правительств, признали в Каннах, что «Нации не могут претендовать на право взаимно диктовать друг другу принципы, на основании которых они расчитывают установить у себя свою организацию собственности, свою экономику и свое правительство. Каждой стране принадлежит и право избрать для себя ту систему, которую она в этом отношении предпочитает».

В сознании капиталистических стран образовался опасный для старого мира надлом: допущена возможность «организации собственности» на иных началах, кроме чисто-капиталистических. Дело времени—если мировая буржуазия сумеет пойти на дальнейшие уступки, или мировой революции—в случае упорного отстаивания буржуазией прежних позиций—этот надлом, этот «*Буржуазный Термидор*» расширить и закрепить в качестве исходной точки нового экономического и социального развития.

* * *

Такое же, если не большее, значение для мирового прогресса суждено и другому национальному элементу «русского опыта»—федерации трудящихся—непосредственно вытекающему из «революционного» права собственности.

В противоположность всем прежним попыткам федерирования «русский опыт» строится не на вертикальных линиях *национального* сечения, а на горизонталях—*социального*.

Наполеон, покорив Европу и сохранив ее вертикальные сечения, пал жертвою вызванных к жизни им самим национальных духов. Если бы Русской Революции суждено было иметь своего Наполеона—а он возможен, но лишь воплощенным в Мировой Социальной Революции,—то в результате завоевания им Европы все вертикальные перегородки были бы уничтожены, и *единое мировое государство трудящихся* из власти грез перешло бы в действительность.

Но и без «русского Наполеона», хотя бы и во образе Мировой Революции, русский опыт федерирования, по мере неизбежного приближения социально-экономических основ европейской жизни к основам русским, эволюционно, с непререкаемостью равномерно-ускоренного движения, приведет к тому же—к Европейской, а затем и *Мировой Советской Республике.*

С. Лукьянов.

Париж.

„Смена вех".

Ряд литературных отзывов и общественно-политических выступлений о „Смене вех" обнаружил, что некоторые основные сменовеховские положения поняты в России превратно. В этом, до некоторой степени, виноваты и сами авторы сборника.

— «Заглавие и отчасти первая статья сборника,—справедливо замечает С. С. Лукьянов,—многих толкнули на мысль, что мы сменяем „Вехи", а не вехи. Между тем, ни Ю. В. Ключников (кадет), ни я (тоже бывш. кадет), ни другие участники сборника, а тем более—журнала, не исходили и не исходим из веховской идеологии».

Это замечание крайне ценно, так как оно сразу охладит пыл иных полемистов и слева и справа, которые с большой воинственной торжественностью берут несуществующие барьеры и одерживают победы над измышленными противниками. Совершенно очевидно, что для практических выводов сборника старые „Вехи", как отправной пункт, отнюдь не обязательны. Авторы сборника с таким же успехом могли бы исходить из какой-либо иной старой позиции, ибо многие старые позиции нашей интеллигентской общественности в новой исторической обстановке смене подлежат и идейной модификации поддаются. Дело не в „Вехах" и даже не в вехах без кавычек, а в *смене*. „Смена вех"—явление пересмотра, переоценки,—переоценки, по преимуществу, *тактической*.

Здесь таится уже второй ключ к уразумению этого нового течения. Их пересмотр старых позиций относится непосредственно к формам политического действования сегодняшнего дня, не преследуя ни более глубоких идеологических задач, не охватывая даже революции в ее полной и целостной современной международно-исторической композиции. Кой-кто из сменовеховцев, правда, соглашается с тем, что пересмотру и переоценке подлежат самые основы старой идеологии и предпосылки прежнего мировоззрения, но в общем и целом отсылают эти академические вопросы „в историю", до более спокойных времен.

Сейчас же и непосредственно для сменовеховцев решающим мотивом являются *практические* задачи эмигрантской общественности. Вот почему для правильной оценки этого нового течения вышедший *в прошлом году* сборник совершенно не достаточен. Физиономия группы выявилась в гораздо большей мере в еженедельнике „Смена вех", чем в сборнике, а того больше,—в их многочисленных выступлениях перед эмигрантской аудиторией и в их повседневной деятельности. В эмиграции накопилось до двух миллионов человек, которые должны быть возвращены в Россию и которые в нынешнем своем психическом состоянии вернуться, однако, не могут. Группа

„Смена вех“ ведет среди них широкую агитацию в пользу советской власти и считает это одной из своих важнейших задач. Одновременно „Смена вех“ пытается в этом же смысле воздействовать на европейское общественное мнение и отчасти даже на правительственные круги.

Подчиняя всю свою деятельность этим совершенно ясно очерченным конкретно-служебным практическим задачам, сменовеховцы, по необходимости, отодвигают идеологический пересмотр как бы в даль будущего.

Таким образом, сменовеховцев вместо той или иной идеологической концепции или, хотя бы программно-политической формулы объединяет столь *не* определенный и расплывчатый лозунг, как „приятие революции“ и, наряду с этим, совершенно определенные и ясно очерченные практические задания.

Коль скоро обязательным для группы становится не то или иное идеологическое устремление, а единомыслие в области конкретно служебной задачи вербовки сторонников советской власти, то известная несогласованность хора в значительной степени должна явиться *преднамеренной*, так как родит сочувственное эхо в наиболее разнообразных кругах эмиграции: всякий находит себе по вкусу.

— „Мы и в своей теснейшей среде,—поясняет Ю. В. Ключников,—вовсе не ищем абсолютного тожества взглядов. Мы как бы представляем равнодействующую новых течений, которая в значительной мере достигается тем, что более радикальные точки зрения компенсируются менее радикальными у других авторов, и что сознательно мы не уклоняемся ни слишком вправо, ни слишком влево. К тому же, оторванные от России, мы не можем считать своих теперешних точек зрения окончательными“...

Эта заключительная фраза, конечно, особенно характерна и знаменательна. С другой стороны, характерно и то, что «Смена вех» не считает устряловской позиции для всей группы определяющей. Устрялов в своем ответе Струве (№ 3 журнала «Смена вех») себя определенно называет воспитанником «Вех» и всю полемику ведет в тонах еретических речей против «старо-веховской» ортодоксии, а С. С. Лукьянов замечает: «право же, Струве интересен во всем этом не более прошлогоднего снега», и в другом месте: «в этом отношении (идеологическом) слова и мысли Устрялова наименее, пожалуй, показательны». Не принимает «Смена вех» и устряловского термина «национал-большевики». Устрялов остается, повидимому, на крайнем правом фланге, а основное ядро «сменовеховской» группы свою эволюцию, как можно судить по их еженедельнику, усиленно продолжает. «Спуск на тормазах», к тому же, в самых разнообразных направлениях, в рядах сменовеховцев идет. Постепенно начинает утрачиваться, к сожалению, не только единство позиции, но и единство настроения.

Точка зрения Н. Устрялова формулирована с классической ясностью и точностью в статьях «Две реакции» и «Национал-большевизм». Революцию Устрялов считает «затянувшейся». Неизбежна реакция, но сейчас возможны лишь две реакции. Одна «откровенная *реставрационная*. Не прошедшая сквозь испытания революции. Не усвоившая великий опыт, а целиком игнорирующая его». Не «преодолевающая», а лишь «отрицающая революционный период». И другая—«здоровая и плодотворная», «претворяющая в себе некоторые мотивы белого движения 19 года», опирающаяся на перерождение и эволюцию большевизма.

Устрялов предлагает «союз дружбы» этой «здоровой реакции» с революцией, ибо «другой путь»—«возврат к капитализму» через новую политическую революцию—при данной обстановке «несравненно более эфемерен, извилист и разрушителен».

И не потому Устрялов стоит за «союз дружбы», чтобы он никак не мог помириться с реакцией и монархией. Отнюдь. Устрялов—человек «без предразсудков». «Черное движение опасно,—поясняет он.—Его успех был-бы национальным несчастием. Не потому, что оно—*реакция*, а потому, что оно—*дурная* реакция. Не потому, что оно несет с собой *монархию*, а потому, что старая монархия *насквозь гнила*. Оно приведет к торжеству людей, которые, подобно Бурбонам, ничего не забыли и ничему не научились».

А на другом фланге—С. С. Лукьянов, который считает революцию не только не затянувшейся и не завершенной, но лишь наростающей во всем мире. Вместо «возврата к капитализму» у него «новое понимание права собственности», которое «ошибочнее всего было бы считать возвратом к старому буржуазно-демократическому порядку вещей». Вместо российского великодержавия в старом смысле слова у него—«новое разрешение международной проблемы в направлении единого мирового союза всех трудящихся»—«Мировая Советская Республика» (см. выше, отд. «Дискуссионная кафедра»). С. Лукьянов верит в некий пацифистски-эволюционный путь этого всемирного хозяйственно-политического преображения.

И та и другая точки зрения уживаются под общей гостеприимной крышей «Смены вех». Эволюционный большевизм и... вера в эволюцию большевизма. Саморастворение в коммунизме и... надежда на саморастворение коммунизма. «Мирная» революция и... здоровая реакция.

„Смена вех" пытается примирить, уравновесить, сбалансировать путем „компенсаций" такие диаметрально-противоположные не только идейно, но и по основному настроению своему позиции, что начинает утрачивать направляющую и даже определяющую силу.

„Смена вех" была знаменем идейно-политических переоценок и для эмиграции сыграла и, очевидно, продолжает еще играть выдающуюся роль. У нас, в России, процесс приятия революции, пересмотра старых позиций и некоего биологического взаимоприспособления живых сил страны (в первую очередь военной интеллигенции и советской власти) на основе служения национально-государственным интересам начался уже давно и в некоторых областях дал уже богатые результаты. Процесс этот в акушерах не нуждается, и мы к этой роли менее всего приспособлены.

После революционной бури наступает затишье. Кровавый туман войны и революции поднялся, отошел. Проясняется лик земли, и мы впервые получаем, наконец, благодатную возможность схватить события в их правильной исторической перспективе.

И остающаяся на идейном распутьи российская интеллигенция (не эмигрантская, не из России № 2) сейчас ощущает острую нужду в новой идеологии, которая сменила бы обветшавшие или сгоревшие в огне революции партийные деления, которая бы совершенно однозначно и определительно осмыслила бы пережитое, осветила бы перспективы грядущего.

Революционная работа разложения, а затем и разрушения старой интеллигентской идеологии совершена уже давно. Сейчас на очереди положительная работа: творческое созидание новой идеологии, построенной на поучительном опыте революции.

И, конечно, полудифференцированный в идеологическом отношении хаос „Смены вех" не может послужить лоном самоопределения России № 1. Он знаменует лишь общую тенденцию к переоценке прошлых позиций и к приятию революции, т. е. этап, давно нами пройденный.

Наша группа, на идейном знамени своем написавшая «Новая Россия», не ставит себе никаких конкретно-служебных, злободневно-политических целей и задач, тем более, ограниченных пределами филан-

тропического врачевания эмигрантских душ или наставления кого-либо «на путь истинный». Мы стремимся ответить духовному запросу современной российской интеллигенции, облегчить ее мучительные искания новых путей, обрести вместе с нею новую идеологию, революционную по своему творческому духу и социально-этическому устремлению. Мы ратуем за новое сближение с народом, от которого почерпаем силы свои — сближение на этот раз менее сентиментально-идиллическое, а основанное на поздней мудрости революционного опыта и взаимно утишенных обид.

Уже один факт нашего пребывания здесь, в суровой российской действительности, а не в прекрасном далеке эмиграции, налагает на нас многие обязанности, требует большой ответственности и дарит иные скупые права. Нам, например, не позволено тешить себя тем, что «оторванные от России, мы не можем считать своих теперешних точек зрения окончательными»... Мы все время — здесь, и суд наш должен быть окончательным и не может быть иным. Мы не только «присутствуем» в России, мы участвуем в ней. Плуг революции прошелся и по нашим спинам. К сугубой ответственности взывают пережитые годы. Довольно ошибок и довольно колебаний! Это мягкий и нежный А. П. Чехов, дореволюционный и довоенный, скорбел, что «в нас много фосфору, но мало железа». Революция принесла нам, наконец, этот дар. Мы требуем от интеллигенции и, в первую очередь, от самих себя глубокого чувства ответственности, мужественности и решимости. Поэтому слова наши и, тем паче, позиции, не могут и не должны быть ни многообразны, ни многозначны. Долой рефлексию и да здравствует простота, ясность и твердость!

Факт пребывания нашего здесь наложил и другую печать. Ведь, все мы — очевидцы, понятые пятилетнего «перманентного» революционного акта. И здесь, как и во всех великих, простых и таинственных актах природы, одни и те же органы предназначены и для яркого плодотворящего экстаза и для низменных отправлений. Мечи революции, раньше, чем перевоплотиться в орала, превращаются в ножи гильотины. А гильотина, как и всякая машина, подчиняется закону инерции. Мы были бы слепцы, если бы этого не видели. Мы были бы трусы, если бы это замалчивали. Мы будем *активно* защищать революцию от всякого на нее посягательства, потому что чувствуем себя ее органической частью, пламенно убеждены в ее священной правде и великой правоте. Но именно потому, что она — *наша*, мы с тем большей настойчивостью будем осуждать, порицать и бороться с жестокостью, мародерством, невежеством, бесчестностью, чванством и произволом, которые плодит переходное время. Не критика ради критики, а критика ради творчества, ради исправления и уврачевания.

Своеобразная психологическая аберрация создается вдали от родины, и в двух цветах представляется там Россия, — либо погребально-черных, либо идиллически розовых. Либо полное отрицание реальности современной революционной России, либо какой-то мистический всепокрывающий пан-руссизм. Нам ли, среди калуцкой и тамбовской действительности, повторять эти же *идейные галлицизмы*!

И еще одно. «Смена вех», выполняла революционно-разрушительную работу в отношении старой идеологии, когда волна великого пересмотра докатилась до эмиграции. Но, по правильному наблюдению П. Б. Струве, это течение «родилось из русской *не эмигрантской* почвы и отражает какие-то внутренние борения, зачатые и рожденные в революции». Мы, его здесь давно пережили не только умозрительно, но и действенно. Отдельные представители военной интеллигенции (В. Ф. Новицкий) формулировали его с полной ясностью еще в начале 1919 г. (см. выше «Великий синтез»). Сейчас приспела пора кристаллизовать новые символы веры, и мы эту работу здесь начинаем.

Не саморастворение в большевизме, а самоопределение в революции,—вот наш лозунг. Сотрудничество с советской властью перестало уже быть здесь паролем. Это для всей российской интеллигенции—давнишняя реальность. Но сотрудничество не есть слияние. Мы памятуем, что большевизм—только часть революции, а мы ищем идейно-эмоциональной близости с целым и продуманно-сознательной и самостоятельной позиции, ибо, повторяем, среди идейного распутья и хаоса пришла пора кристаллизации новых отправных пунктов и предпосылок пореволюционного миросозерцания интеллигенции.

Не политические программы и не тезисы практического действования ищем мы (это—дело будущего и, быть может, далекого), а лишь новые социально-этические русла.

«Смена вех» слишком оторвалась от России; от ее неприкрашенной действительности, ее живых нужд и запросов, слишком замкнулась в скорлупу эмигрантщины. «Смена вех» замкнулась и во вторую скорлупу—узкого и непосредственного политического действования, и тем наложила на себя крайнюю практическую ответственность, оставаясь идеологически на позициях отчасти устарелых, отчасти взаимно противоречивых, а потому и безответственных.

При всем том «Смена вех» несомненно сыграла исключительную роль в отрезвлении эмиграции. Для Парижа и Праги они—несомненные глубокие российские почвенники, хотя-бы уж самым фактом терпимости к современной России, что знаменует политику открытых глаз. «Смена вех» сыграла свою роль и в России, выведя из состояния политического анабиоза наиболее консервативных, упрямых и тупых.

Революционно-бодрствующий и возбуждающий лозунг пересмотра и переоценки, брошенный в косную интеллигентскую среду, родил несомненно живой отклик. И это, по справедливости, надо занести в актив «Смены вех», независимо от пассивных статей.

И. Лежнев.

Под знаком России.

(*„Clarté“*).

«Смешно видеть, как капиталистическая Франция, второстепенная держава, вероятная колония Америки, упорствует в блестящей изоляции своей победоносности и не хочет видеть другого исхода, кроме уничтожения Германии и России».

Это—голос той группы французских интеллигентов, которая ясно видит нелепость и безвыходность положения, созданного и поддерживаемого французским шовинизмом. Руководящие французские слои тоже чуют трагизм положения, но надеются разрешить его привычными методами международного насилия. Наоборот, автор приведенной цитаты и его друзья решительно об'явили «войну войне».

Это течение обнаружилось еще в самом начале войны 1914 г., когда Ромэн Роллан, эмигрировав в Швейцарию, развил горячую антимилитаристскую пропаганду. Позже в том же русле оказался Анатоль Франс. Теперь движение захватило значительное число писателей, художников, ученых, педагогов и распространилось далеко за пределы Франции. Оно, повидимому, разбилось на несколько разновидностей. Из них наиболее энергичной и организованной является группа «Clarté», возглавляемая Анри Барбюсом.

К сожалению, в нашем распоряжении всего три случайных номера двухнедельного журнала «Кларте» (от 3 декабря 1921, 4 и 18 января 1922 г.), которые не дают возможности в точности изложить программу и очертить в полной мере размах деятельности группы. Но общий характер движения ясен

и из этого отрывочного материала, и он настолько интересен, что стоит поделиться хотя бы тем, что есть, не дожидаясь более обстоятельных сведений. Ведь их не так-то скоро и добьешься при теперешнем положении вещей, когда получение заграничной литературы обставлено неодолимыми препятствиями.

«Кларте» есть настоящая организация с распорядительным Комитетом в Париже и с десятками отделений, рассеянных по Франции и по всей почти Европе. Есть отделения даже в Турции, Армении, Египте, Палестине, в Северной и Южной Америке (в последней особенно много). В Германии среди членов «Кларте» числятся Вильгельм Герцог, Леонард Франк, знаменитый Эйнштейн, в Бельгии — Жорж Экхуд, в Испании — Квинтилиано Сальдана и т. д. Все отделения приемлют программу парижского Комитета и действуют по его директивам. Для пропаганды организация располагает журналом, книгоиздательством, книжной торговлей, устраивает конференции, публичные диспуты и т. п. Дело ведется весьма энергично, и число сторонников группы постоянно возростает. Особая университетская секция успешно работает среди студенчества, синдикат учителей проводит идеи группы в средней и низшей школе.

Основная задача «Кларте» — чисто культурная. Старый мир рушится. Изжиты не только политические и социальные формы, изжиты самые основы культуры, старые идеи, мораль, даже психический склад. Куда ни обращается взор наблюдателя, везде он встречает безнадежное разложение, вся атмосфера жизни насквозь отравлена гнилостными ядами. Так дальше жить нельзя. Необходимо создавать новую психику, новую культуру, что возможно только на почве активного приятия революции во всей широте ее беспощадного размаха. И вот, — «организация «Кларте» есть всемирное сотрудничество в целях великой пропаганды, необходимой ныне более, чем когда-либо», она хочет быть «очагом революционной культуры». В основе — лежит борьба против всяких человеконенавистнических инстинктов, и особенно — против культа войны. Угроза новых кровавых столкновений повисла над Европой, и Франция является в этом отношении застрельщицей. Но новая война была бы не только экономическим крушением Европы, она грозит конечным одичанием, если не полной погибелью всему европейскому человечеству. Надо противупоставить этой грозной опасности, рядом с организованным сопротивлением трудящихся масс, организованное, мощное умственное течение среди наиболее культурных элементов всех стран, — течение не только отрицательное, но и творческое.

Эта творческая работа еще в стадии искания. По характеру своих задач «Кларте» находится в соприкосновении с социалистическими, синдикалистскими и коммунистическими организациями. Руководители ее не скрывают своих марксистских симпатий, но не выбрасывают никакого партийного знамени. Они высоко ценят гениальность и действенную силу теории Маркса, но готовы признать, что «Марксу не хватало психологического понимания; он не был достаточно чуток ни к индивидууму, ни к этическим ценностям, ни к инстинкту свободы». Они находят объяснение этой односторонности в том, что «ему приходилось бороться как раз с теми, кто, для устроения мира, взывал только к индивидууму, к нематериальным силам, к свободной воле». Но такое перегибание палки, хотя и понятное, хотя и необходимое в известной стадии эволюции, должно быть теперь уравновешено новыми творческими усилиями мысли.

Ограничиваться только критикой существующей действительности представляется для «Кларте» делом бесплодным, если не будет одновременно развиваться и положительное революционное творчество. В жизни общества, как и везде, природа не терпит пустоты, — старое уходит лишь вытесняемое новым; кто не творит нового, тот помогает жить старому. «Реформаторы, удовлетворяющиеся голым отрицанием, невольно работают на консерваторов, что бы они ни говорили, и чего бы они ни желали. Их тяжесть присоединяется к тяжести масс, которые цепляются за прошлое. Лишенные творческой жажды будущего, они осуждены погрузиться в позор пессимизма».

В грехе пессимизма группа «Кларте», действительно, неповинна. Ее критика остра, беспощадна, метка, иногда переходит в персифляж, особенно по

адресу банковских и политических дельцов, но никогда не звучит в ней хотя-бы подголоска уныния. «Кларте» исполнена несокрушимой веры в успех своего дела и скорее склонна к излишнему оптимизму.

В этом отношении чрезвычайно характерно отношение «Кларте» к русской революции. Нумера журнала переполнены материалом, касающимся России. Магдалина Маркс из номера в номер ведет горячую и трогательную пропаганду в пользу помощи нашим голодающим. Журнал не скупится на фотографические снимки, развертывающие жуткие детали из жизни несчастного Поволжья; рядом воспроизводятся рисунки, сделанные поволжскими детьми, и читателю ставят на вид, что авторы этих набросков, действительно, талантливых, теперь, может быть, помирают голодной смертью. Но «Кларте» не только потрясена обрушившимся на нас бедствием. Она с восторгом и сочувствием, едва ли не с преклонением, следит за всем, что происходит в России. Для «Кларте» Россия—героическая страна, которая гигантским усилием преодолела страшную инерцию прошлого, еще тяготеющего над остальной Европой, и смело ринулась на непроторенные пути, в поисках за лучшим будущим.

Правда, по словам одного из участников «Кларте»,—«большевизм есть не более, как всего только эмбриональное предуказание; развившись в стране, которой угрожало разложение, он представляет попытку, предпринятую с отчаянной энергией, с целью конкретизировать, в формах правительственной деятельности, умственное движение, гораздо более широкое, и последствия коего во всех отношениях выходят за ее пределы».

И все-таки, в целом, журнал сильно идеализирует революционную Россию, ставя ее в пример Европе, пораженной смертельной болезнью, но предпочитающей, в лице своих руководящих слоев, безнадежно метаться в заколдованном кругу старых, изжитых форм, и только затягивать тем самым мертвую петлю на своей шее. Все совершающееся в России, все ее деятели приобретают, в глазах «Кларте», чрезвычайную значительность.

По поводу смерти Блока, московский сотрудник «Кларте» Пьер Паскаль передает по радио целую статью: журнал прибавляет к ней свою, переводит статью Иванова-Разумника, дает в переводе «Скифов» и, наконец, портрет поэта работы Мутера. Кончина Блока для «Кларте» событие едва-ли не более потрясающее, чем для нас, и вот почему: «Мы хотим думать, что интеллигенты страны, как наша, где смерть Дебюсси проходит почти незамеченной, признают в московском радио нечто от той заботы, какую они желали бы найти во Франции по отношению к ним самим и, даже более,—нечто от пресловутой (fameuse) новой красоты, которую они тщетно стараются отыскать на наших стенах, залепляемых афишами, в наших машинах, обслуживаемых людьми, душа коих погибает или дремлет». Каково-же, значит, чувствует себя интеллигент во Франции, если он создает такую легенду о завидном положении русского интеллигента!

С гораздо большей осведомленностью констатирует Робер Пеллетье успехи советской дипломатии. Да и вообще, в вопросах внешней политики «Кларте» разбирается с редкой трезвостью. Зато несвободна от идеализации статья Андре Жюльена об «аграрном вопросе в Советской России и новой экономической политике», заканчивающаяся таким абзацом: «Русские взглянули на дело с высоты, но вместе с тем, как люди практические. Они умеют намечать необходимые и временные жертвы и мужественно идти на них. Они первые указывают на их опасность, но они не действуют в безвоздушном пространстве абстракции и не хотят укладывать на прокрустово ложе чистой теории огромное и негибкое тело русской революции». Чрезвычайно интересна статья Марселя Фурье «Бакинская нефть и спекуляция на Россию», где, на основании убедительных фактических данных, вскрывается руководящая роль биржевых спекуляций в поддержке белогвардейских походов на Россию.

Для «Кларте» интересны и русские пролетарские поэты, и постановка музейного дела у нас, и суждения Луначарского об «интеллигенции и коммунистическом Интернационале», даже отзыв Ленина о книжке Аверченко; журнал находит место и для перевода «Мужиков» Чехова и т. д., и т. д. Все

то свидетельствует не только о напряженнейшем интересе к революционной России, но и о том, каким могущественным бродилом все, совершающееся у нас, служит для творческих исканий французской мысли.

Любопытно, однако, вот что: русский читатель, перелистывая «Кларте», невольно приходит к мысли, что мы, пережившую русскую революцию непосредственно, стали взрослее и внутренне свободнее, чем самые передовые французы: лица и факты, на которые они смотрят снизу вверх, в нас не вызывают никакого преклонения; наоборот, мы относимся к ним с трезвой взыскательностью, а когда «Кларте» впадает в восторженный тон, мы воспринимаем его, как знак неискушенной наивности.

Но искренняя и глубокая потребность в радикальном пересмотре и в коренной переработке всего культурного наследия прошлого ставит «Кларте» в ряд движений, развивающихся теперь повсюду и предвещающих выход человечества на новые пути ценою каких-то катастрофических событий. Из всех старых наций Запада, Франция ближе всего к катастрофе, и у ней меньше, чем у кого либо, сил для того, чтобы ее благополучно пережить. Оттого, может быть, и «Кларте», видя слишком много мрачных тонов у себя дома, склонна искать опоры для своей веры в розовой окраске чужой действительности и считать, что у нас уже достигнуто то, от чего мы на самом деле отделены еще широкой полосой напряженного труда и немалых жертв.

А. С.

„Закат Европы" Шпенглера.

Книга Шпенглера странная книга и, может быть, страшная книга В ней есть нечто от люциферова восстания и люциферова отчаяния. Настроение ее отчасти обще-европейское, отчасти же собственно немецкое. Упадок мировой гегемонии Европы и ужасная судьба немецкого народа слились воедино и создали общий девиз: «Закат Европы».

Может быть, точно, закат Европы уже наступает, но пророчество Шпенглера об этом закате невольно воспринимается под особым углом. Шпенглер выявляет себя одновременно пророком и скептиком. Но скептицизм Шпенглера, как пессимизм Байрона, рожден возмущением и гневом. Настроение его романтическое и трудно воспринять его sub specie aeternitatis.

А с другой стороны, книга Шпенглера не книга и даже не отдельный трактат. Это почти библиотека книг, сплетение трактатов. Она насыщена мыслями и даже пересыщена ими, и многие из них не умещаются даже в его необ'ятной системе и просто вылезают из страниц, выпадают из памяти у автора, тем паче у читателя.

Возьмите одни оглавления. Сколько особых отделов с под'отделами. Какие подробные надписи даже на полях. Том первый: Число и пространство. Музыка, пластика. Три настроения духа: Аполлиническое, Фаустовское и древне-религиозное (магическое). Формы душевных настроений: буддизм, стоицизм, социализм.

И в томе втором, еще не написанном: Проблема цивилизации. Мировая столица и провинция. Римская империя. Китай и будущее Западной Европы. Особо: иудейство. Деньги, монета и кредит. Идея собственности. Рабство и машинная промышленность. Психология западной техники. И последняя глава, особенно интересная для нас, русских, и тоже еще не написанная: *Россия и будущее.*

И эту странную запутанную книгу, в сущности, нельзя излагать дедуктивно и последовательно, развивать ее мысли, как свиток, как связный клубок. К ней надо подойти индуктивно, исторически, исследовать ее, как исследуют библию или Веды или поэмы Гомера, расчленить наслоения,—раз'единить настроения, часто различные и даже противоречивые.

Я попытаюсь это сделать, насколько позволит об'ем журнальной заметки. Начну с даты. Книга в общих частях написана до войны, но весной 1917 года снова переработана. Вышла в свет в 1919 году и сразу наделала шуму и породила целую литературу. В два года прошло более 50.000 экземпляров. Мой экземпляр помечен 1921 г. 51—53 тысяча.

Все же в предисловии читаем «Выражаю надежду, что книга моя не будет недостойна стоять рядом с военными подвигами Германии». Помечено: Мюнхен, Декабрь 1917 г.

Германия представлена повсюду, как огромная сила, наследница Рима, представительница материальной цивилизации. Конец цивилизации, закат Европы, пройдет через руки Германии. Мировые организаторы: Наполеон—Сесиль Родс—Х. Этот *X* должен быть немец. Мировые столицы: Париж, Лондон. Последняя и самая крупная—Берлин. Эпоха засыхания культуры только теперь начинается и затянется надолго.

Автор не предвидел собирательного французского Наполеона, Фош,—Клемансо—Бриан,—который, в конце концов, одолеет Германию. И даже post factum с характерным упорством он не счел нужным исправить ни одного слова. И странно читать в этой книге 1919—1921 года о всемирной империи, которая будет, разумеется, германской империей, и сперва расцветет, а потом одичает и умрет, как умерла империя Римская. Автор составил любопытные синхронические таблицы, параллельные для обеих указанных империй. Он предвещает для Европы: 1800—1900 г.г.—национализм, парламентаризм; 1900—2000 г.г.—социализм, империализм. Дальше следуют: цезаризм, мировая империя, деспотический характер империи. На 2000—2200 г.г. указан, быть может, частичный расцвет;—Траян, Марк Аврелий. После 2200 г. следует окостенение и распад цезаризма. И дальше, как финал: империя—добыча молодых народов или чужеземных завоевателей.

Эта параллель черезчур элементарна, чтоб внушить действительные опасения. Но она соблазнила своей простотой не мало мятущихся умов в России и в Европе. Болезненно рушится старый порядок—*мой собственный порядок*. Естественно думать, что рушится мир. В расширении, в всеобщности крушения есть все же доля утешения. И не даром российский излагатель сугубо подчеркивает у Шпенглера: „Умирая, античный мир не знал, что он умирает, и потому наслаждался каждым предсмертным днем, как подарком богов. Но наш дар—дар предвидения своей неизбежной судьбы. Мы будем умирать сознательно, сопровождая каждую стадию своего разложения острым взором опытного врача“ („Освальд Шпенглер и Закат Европы“, статья Ф. Степуна, стр. 7).

Наиболее действенную силу современности Шпенглер, как и многие другие, видит в социализме, притом в революционном социализме. Он указывает, что социализм не есть религия сострадания и жалости к слабым, но религия проявления возможностей, заложенных в человечестве. Это учение о сверхчеловеке Ницше, которое стало всемирным идеалом: „Действуй так, как если-бы воля твоя стала законом природы“. С такой точки зрения христианство противоположно социализму. После Павла христианство стало подобным стоицизму. Девизом его сделалось „Терпи! Несть власти, аще не от Бога“. Устремление социализма, напротив, состоит в том, чтобы разрушить старое и создать из самого себя новое будущее.

Но, в отличие от социалистов, Шпенглер полагает, что социализм, как и христианство, не может задержать действие закона разложения цивилизации.

Историческую схему Шпенглера пытались сблизить с исторической схемой Вико и в этом есть своя доля истины. Как и Вико, Шпенглер готов допустить, что история движется по сомкнутым кругам, как белка в колесе, повторяя все тот же процесс. Все его параллельные синхронические таблицы—такие сомкнутые круги: «Весна—два раздела: лето—четыре раздела, осень—три раздела, зима—пять разделов». Он не желает допустить, что все эти круги могли бы сомкнуться в общую спираль. Он говорит об отдельных куль-

турах, об отдельных цивилизациях и этим самым отрицает общую единую культуру, единую цивилизацию.

Идея эволюции как будто совершенно исключена из его социологической системы. А между тем идея эволюции особенно в ее новейшей форме нисколько не исключает возможности вымирания отдельных форм. Так, палеонтологи находят возможным утверждать, что „каждая филогенетическая ветвь проходит в некотором роде геологическую карьеру, в которой можно различить стадию юности, стадию зрелости и, наконец, стадию старости или вырождения, подготовляющую вымирание типа". Для палеонтолога геологические эпохи лежат друг под другом, как ряд лестниц; в этих лестницах породы животных представляют пролеты, а виды—ступени. Но вместе взятые, они составляют общую дорогу, восходящую снизу вверх. Также точно и в истории, если говорить о рождении и смерти отдельных цивилизаций, то всетаки нельзя их не связывать в одну восходящую спираль.

В отрицании этой связи лежит одновременно и сила и слабость Шпенглера. Раз'единив историю на несколько замкнутых групп с внутренним вращением, вроде солнечной системы, он тем более глубоко почувствовал и оценил внутреннюю связь каждой такой системы. Он претворил эту связь из механической в органическую, и общий закон рождения, развития и смерти, который он старается определить детально для всех этих групп, есть органический закон.

Прямо отсюда вытекает самая центральная, самая плодотворная мысль всей его системы:—Каждая историческая группа, проходя закон своего развития, рождает особую форму человеческого духа, индивидуального и коллективного, особую науку, астрономию, математику, физику, особую форму искусства, музыку, живопись, скульптуру, особую форму философии, религии, даже особую систему философски-общественных воззрений.

Эту основную идею он разбивает на множество деталей и вкладывает ее в систему параллелей, порою только остроумных, а порою почти гениальных по их проникновенности.

Например, параллель греко-римского и западно-европейского мира. При видимом сходстве эпох Шпенглер видит основное различие настроений.

Античное настроение,—аполлиническое, статическое, воспринимающее. Современное настроение—Фаустовское, динамическое, активное. Если обозначить античность, как *A*, а современность, как *C*, получается следующее продолжение параллели.

В математике *A*. Число—мера, телесное, положительное. Нет иррациональных и отрицательных чисел.

C. Число, как функция. Анализ.

A. Параллельные линии на плоскости. Предел познания—квадратура круга.

C. Теория различных измерений в пространстве. Предел познания: учение о бесконечно малых величинах.

В искусстве. *A*. Пластическое искусство, скульптура, архитектура, живопись, фреска, мозаика. Контуры без тона.

C. Инструментальная музыка. Победа музыки над скульптурой и живописью. Контрапункт. В живописи—светотени, глубина пространства, импрессионизм.

В драме *A*. Трагедия Софокла, Эдип. *C*. Трагедия Шекспира, Лир.

В этике.

A. Приятие мира, как он есть. *Гедонизм. Carpe diem* (используйте текущий день) Эпикур. *Стоицизм*. Будь тверд в бедствиях. *Stano, quocunque ferar*. (Устою, куда бы ни попал).

C. Долг. Воля к действию, к власти. Практическая динамика. Долг—основное свойство социализма. С этой точки зрения все мы—бессознательные социалисты. Лютер и Ницше тоже думали только о человечестве. Нетерпимость. Инако мыслящие—враги. Борьба за идеал.

Исходя из таких параллелей Шпенглер делает ряд выводов, поразительных по неожиданности и какой то зловещей четкости.

Современная культура в развитии своем перешла через апогей и близится к упадку. Искусства завершили свой круг. Музыка окончилась с Вагнером. Вагнер—параллель революционного социализма. Сокровище Фафнира, золото Нибелунгов—символ капитализма. Дальше движения музыки не будет.

Живопись тоже закончена. Последнее великое достижение—Рафаэль, Рембрандт. Импрессионизм это застой. Прерафаэлиты—уже упадок. В поэзии, в литературе золотой век уступил серебряному веку. Дальше последует эпоха хрестоматий.

С этой точки зрения между прочим становится понятным появление футуристов и кубистов в живописи и в литературе.

Шпенглер увещевает нас принять это падение, остановку развития искусств, как нечто неизбежное.—*Жить повторением старого, вариантами, задами*, как жила античность со времен Марка Аврелия.

Однако, если взять, например, литературу, в которой мы разбираемся лучше, чем в других искусствах, и назвать, как вершины современных достижений, четыре имени: Анатоль Франс, Ромен Роллан, Лев Толстой и Рабиндранат Тагор,—то разве совокупность творений этих великих художников слова представляет действительно упадок, серебряный век, переход к хрестоматиям?.. В этом позволительно усумниться.

Скептицизм и насмешливая безнадежность Анатоля Франса все таки еще вмещается в скептическую схему Шпенглера. Но вот, например, Роллан. Для серии романов, написанных о Франции и по французски, он избрал своим главным героем немца, Кристофа, вечно молодого, полного стихийною силой, заряженного активностью, бесконечной и почти неистощимой. Немец Кристоф отрицает немца Шпенглера. Оба они не могут существовать рядом. Но возможно, что и Шпенглер все тот же Кристоф, временно переодетый, переряженный скептиком и пессимистом.

Даже применяя указанный Шпенглером метод, мы должны видеть в Анатоле Франсе прошедшее, в Кристофе Роллана—настоящее, в Толстом ближайшее будущее и в Тагоре—более отдаленное будущее устремлений мировой литературы.

Вместо новых Каракаллы и Коммода и целой всемирной империи, обреченной на неизбежное окостенение и трупный распад, в грядущем на смену «Закату Европы», если он, действительно, произойдет, рисуется новый расцвет многомиллионных рас, населяющих землю, огромную и все еще пустую. Культура этих рас на наших глазах сплетается с культурой европейской. И она будет ее продолжением и расширением, также точно, как культура европейская была продолжением и расширением культуры средиземной, греко-римской.

В этом необходимая поправка к построениям Шпенглера во всей их *полиглотной и многосложной учености*.

— Н—

Рабиндранат Тагор.

Не могу сказать, выросла ли так неожиданно в эти последние годы огромная Индия, или вырос сам Рабиндранат Тагор, или оба они выросли вместе, но индийский поэт возвышается теперь сразу над востоком и над западом, как новый «саниази», отшельник и мудрец. О Тагоре возникла целая литература. Английские газеты и журналы его называют согласно индийским пророком, провидцем, индийским мудрецом.

Его сравнивают с Толстым. Толстой, говорят, был провозвестником нового русского влияния, непонятным, неожиданным, пророческим, и таким же провозвестником грядущих индийских влияний является Тагор.

Параллель между Толстым и Тагором, действительно, и манит и вместе беспокоит. Оба они носят в себе мироощущение какого-то особенного религиоз-

ного типа. Оба стоят в стороне от обычных потоков культуры. И также, как имя Толстого связано с Ясной Поляной, так и у Тагора есть Шантиникетан, любопытная школа в сельской местности, за полтораста верст от Калькутты, где ученики распевают гимны, особо сочиненные для них поэтом, и куда приезжают, как в храм, гости из Мадраса, Дели и Бомбея.

Не знаю, впрочем, чего больше в этой странной параллели, сходства или различия. Один такой спокойный, другой такой нестройный, мятущийся. Один пантеист, другой богоборец. Один заканчивает книгу гимнов:—Тише, молчание, «мир!» Другой всю свою житейскую карьеру закончил надрывистым криком:—«Не могу молчать!».

Один урожденный поэт, сплетатель словесных венков, маленьких очерков, пьес, благоуханных, как цветы, другой—урожденный прозаик, создатель огромных полотен во всю ширину нелепой России, может быть, даже еще шире.

Тагор вырос из древней индийской культуры легко и непринужденно, как лотос. С первой минуты он, как переодетый принц, и то, что английское правительство недавно ему даровало баронетство и сделало его Сэром Рабиндранатом Тагором, ничего не прибавляет к его неписанному титулу. У Толстого прежнее русское правительство хотело бы когда то, пожалуй, и графство отнять. Да и что значило графство для Толстого в российской обстановке? Меньше старинного жетона, полученного по наследству и совершенно ненужного. И какой в сущности граф Толстой? Мужик мужиком, и лицо мужицкое. Ходил распояской и ноги босые.

Из всей литературы о Тагоре, конечно, всего интереснее его собственные книги. К нам дошло девять новых книг, написанных Тагором, одна другой и ярче и значительнее. Вот современный роман: «Родина и мир», посвященный индийскому национальному движению. Девизом этого движения служит припев индийского национального гимна:—*Банде матарам.*—«Да здравствует родина мать!» Способ действия—бойкот всего английского. Впрочем от бойкота совсем недалеко и до прямого насилия. Движение бойкота приняло в Индии широкие размеры. Во главе его стоит Ганди, имя которого известно и у нас. Тоже красивая и странная фигура, чисто индийского склада. Во время одной из недавних рабочих забастовок, когда рабочие поколебались и хотели уступить, Ганди, разумеется, уговаривал их подержаться подольше. Ему бросили упрек:—«Вам хорошо, вы не голодаете». Взволнованный Ганди тут же произнес торжественный религиозный обет не прикасаться к пище, пока забастовка не кончится так или иначе. Это произвело большое впечатление в стране. По индийским воззрениям исполнение такого обета навлекает заклятие на нравственных виновников его. Кончилось тем, что на другой день к вечеру хозяева уступили.

Один из героев Тагорова романа фигура, похожая на Ганди. Он и зовется похоже—*Сандип.* Впрочем Тагор не сочувствует Сандипу, он не сочувствует насильственным действиям. Девиз его старо индийский: «спокойное самосознание, наука, красота». Центральными героями романа является молодой раджа Никиль из мелкого вассального княжества и его жена, Бимала, чудесно написанный портрет новой женщины. Она увлекается движением бойкота, но потом возвращается к мужу. Однако уже поздно... Никиль все время старается вносить успокоение. Он мирит бойкотистов с лойялистами и падает в уличной схватке... В романе много жизни, много нравственного напряжения и есть какое то странное очарование в том, что грустные любимцы автора гибнут в борьбе и вперед выдвигаются буйные и властные люди, с Сандипом во главе.

Почти одновременно с этим романом выпущен сборник пьес из древней индийской жизни. Центральной пьесой является «Жертвоприношение». Содержание пьесы имеет отношение к борьбе браминизма с буддизмом. И можно сказать, что это один из сильнейших протестов, какие были когда нибудь направлены против религиозного фанатизма. Вот что следовало бы немедленно перевести. Вся пьеса напитана страстью, жестокой и бурной трагедией, и между тем, какая она простая и все таки сдержанная и, я сказал бы, мудрая

Тагор выступает пред нами как преемник, продолжатель Калидасы, как древний индийский поэт, внезапно помолодевший, глотнувший всемирного духа и знания и только углубивший свой собственный индийский дух. Лишних слов нет. Вся пьеса в символах. И временами вспоминается как будто Метерлинк. но Метерлинк ведь такой искусственный, такой гетерогенный. Тагор, напротив, во всем естественный, стихийный и простой, одновременно и древний и культурный.

Вот книжка рассказов под общим заглавием *Меши* (Тетка). Старые и новые типы встречаются рядом. Особенно женщины и ярки и трагичны, юные вдовы, брошенные жены, бродячие девушки. В Индии 26 миллионов вдов. Из них более полумиллиона ниже пятнадцати-летнего возраста. По индийскому обычаю, вдова это—живой мертвец. Ей сбривают волосы, ломают браслеты на руках и ногах. А другие драгоценности отбирают и отдают родственницам мужа. Потом начинается жуткая жизнь, полутюрьма, полутраур. Самым приличным исходом для вдовы считается последовать за мужем, путем самосожжения на его погребальном костре, а так как это запрещено англичанами, то и всяким другим способом, например, отравлением. Но на это конечно решается из тысячи одна.

В последние годы среди этих полупохороненных узниц, прикованых к тени покойника, тоже возникло движение. Вдовы понемножку, по одной, стали выходить замуж. Борьба за право брака рождает немало и новых трагедий и новых комедий, даже водевилей, не в литературе, а в действительной жизни.

Тагор и в этом случае остался верен обычной своей осторожности. Вот старый тип: молодая жена отравилась над гробом мужа, вдобавок нелюбимого. А вот сценка смешная и симпатичная. Молодая вдова выдержала в одиночестве, как будто карантин. Теперь она выходит замуж как то невзначай для самой себя и даже для новых кандидатов в женихи.

Вот еще пьеса: «Весенний круг», написанная специально для школьников в Шантиникетане, опять таки пьеса особенная, полная гимнов и мягкости и полная веселого движения. Брамины хотят усадить школьников за книжки, но школьники бегут в лес... «Мы славим весну своими безумствами!» ликуют они. Они бросаются преследовать образ зимы, фигуру старика, мелькающую смутно вдали. «Мы поймаем его и сорвем с него старые ризы!» Целый день проходит в беготне, в безумных выходках. К вечеру дети устали. Их предводитель убежал вперед и не возвращается. Любимый товарищ исчез. Им грустно, холодно. Они готовы усесться за книжки. Но вот наконец и рассвет. Светлеет в небесах, светлеет и в душе, и вдруг зимний старик появляется совсем близко.—«Ага, попался!». Они с торжеством окружают его Он оборачивается. Это совсем не старик, это их собственный вождь, веселый и светлый, как солнце. Под покровом зимы оказалась весна, под покровами смерти—торжествующая жизнь.

Еще книги Тагора:—«Национализм»; ряд статей об Японии. «Гений Японии». Поездка Тагора в Японию была сплошным триумфом. «Великая встреча азиатских рас»,—кричали японские газеты. Но Тагор и тут остался верен себе. Он словно головой покачал и отвернулся от воинствующего японского национализма и обратил свое лучшее слово, простое и вместе задушевное, к маленьким детям Японии, к таким же школьникам, как те, что в Шантиникетане. Прекрасная фигура Тагора всплывает на гребне огромного индийского движения, подобная фениксу, птице из песни индийского гостя. Об индийском движении в 1921 году вышли сразу две книги, написанные по английски. Одна называется:—«Безмолвная революция в Индии». Другая называется «Бескровная революция в Индии». Боюсь, что индийская революция не будет ни безмолвной, ни бескровной, совсем наоборот. Но такие фигуры, как Тагор, объясняют, почему посторонним наблюдателям самая запутанность индийских отношений кажется все же торжественной и стройной, полной незлобия и полной мудрого спокойствия.

Т.

Красные и белые.

(*Посмертный фельетон В. М. Дорошевича*).

Умерло прошлое и вслед за ним умирают и уходят один за другим и люди прошлого, лучшие и худшие, великие и малые и средние.

Умер Дорошевич, талантливый и чуткий журналист, один из создателей крупнейшей российской газеты, влияние которой росло и ширилось из года в год до самой революции. Были годы, когда о Дорошевиче можно было сказать. Из русских журналистов он первый. А в конце его жизни были и такие годы, когда перо его молчало, должно было молчать поневоле. Но все-таки, когда он опять заговорил, слово его было, как прежде, правдиво и его восприятие жизни не было спутано и стерто предубеждениями прошлого. Об этом свидетельствует печатаемый ниже небольшой фельетон, последнее произведение, написанное Дорошевичем за несколько месяцев до смерти.

Умер Дорошевич. Да будет ему легка земля.

Ред.

Видели ли вы, как в ростепель, по талому снегу баба идет за мужиком? Идет по следу. Куда мужик своими сапожищами—туда и она своими лаптями.

В результате у бабы мокрые онучи.

* * *

Террор.

Белые повесили в маленьком городишке Майкопе, на Северном Кавказе,— тысячу двести человек (1200).

Одну барышню даже вверх ногами.

Висящий человек стал в Майкопе таким же обычным явлением, как бегающая собака.

Маленький городок потерял сон.

— За кем теперь очередь?

— Не за мной-ли?

— За мной?

— За мной?

Доктора, приехавшие с Царицынского фронта, рассказывают вещи, от которых волосы подымаются дыбом.

Там расстреливание заменено «отсечением головы».

Казнимый становится на колени на краю ямы, и заплечных дел мастера рубят ему голову.

Иногда только перерубают шею.

Вот в яме из груды трупов подымается один с перерубленной шеей и что-то кричит.

Его пристреливают, и яму зарывают поскорей.

Случается, что из под трупов раздаются вопли, стоны.

Все равно зарывают.

Хоронят живыми.

* * *

Контр-разведка превратилась в «чрезвычайку».

В Севастополе было сделано нападение на содержательницу гостиницы «Кист».

Напал простой грабитель.

Но из него сделали «большевика».

Он бежал, но его подстрелили.

И раненого подвергли «шомполизации».

Били шомполами до такой степени, что здоровенный, рослый малый превратился в худенького человечка.

И в тот же вечер, раненого и избитого, приговорили к смертной казни.

Те же расстрелы при любой попытке бежать.

И, как у красных слово «буржуй», под которое подходит все, что не носит косоворотки, так у белых слово «социалист», под которое подходит все, что не носит военной формы.

Меньшевик, эс-эр.

— Большевики «второго сорта»!

И—расстрел.

* * *

Реквизиция помещений и уплотнение населения.

Как и при красных, при белых вы не являетесь хозяином своей квартиры.

— Побуржуйствовали—и будет,—заявляют вам белые.

И берут ваш кабинет под комнату для г. ротмистра.

Г. ротмистр помещается в вашем кабинете, его денщик у вас в кухне.

К этому надо еще прибавить офицерскую жену.

Существо грязное, привыкшее к цыганской жизни.

Едва в'ехав, она заподазривает вас в «большевизме» и беспрестанно грозит вам контр-разведкой.

Офицерской жене все кажется, что с ней дурно обращаются и не воздают ей тех почестей, которые ей полагаются, как офицерской жене.

— Мы для вас кровь проливаем, а вы для нас письменного стола жалеете!

— Кто же это «мы», сударыня?

— Мой муж! Это все равно.

К тому же, благодаря цыганскому образу жизни, офицерская жена стала очень «не чиста на руку».

О, офицерская жена!

Ты заставляешь с нежностью думать о милой и простой «комиссарше».

* * *

И заметьте, что все это без каких-либо надежд на лучшее будущее.

Без революционного энтузиазма, который заставляет смотреть снисходительно на неудобства сегодняшнего дня:

— Зато в будущем!

Просто потому, что делают «красные»!

— У красных вот как!

— Красные и не так еще поступают!

* * *

Белые слыхали, что у красных обращено усиленное внимание на культурно-просветительную деятельность.

И белые туда же.

Во главе всех театров стоят офицеры.

— Да ведь красные заботятся о культурно-просветительном влиянии на рабочих, на крестьян. Вы то о культурном просвещении кого хлопочете? Буржуазии?

В Киеве организовалась «южная армия».

Исключительно из офицеров.

Еще и армия то была только в проекте.

А культурно-просветительная часть уже совершенно готова.

Встречаю офицера.

Ну что поделываете?

— Служу, батюшка. Получил место по культурно-просветительной части при южной армии.

— Да мне кажется, что офицерам нужно только одно просвещение: стреляй без промаха.

— Ах, не говорите!

В конце концов «южная армия» так и не сформировалась.

А культурно-просветительный отдел при ней разошелся по другим армиям.

* * *

Так, в ростепель, по талому снегу баба идет за мужиком.

Идет по следам.

Куда мужик своим сапожищем, туда и она своими лапотками.

В результате, онучи у бабы мокрые...

В. Дорошевич.

(«С. В.»)

Русская книга за-границей.

(*Заметка*).

Один эмигрантский русский журналист, подводя итоги трехлетнему пребыванию двухмиллионного беженского полчища заграницей, говорит:

„Люди в красных фесках, добрые братья-славяне и настоящая большая Европа успели хорошо узнать, что такое—русский театр, русская водка, русские женщины“.

Этот печально-иронический итог эмигрантского бесплодия, в сущности верен. Но несправедливо было бы обойти в данном случае единственное реальное, что породили беглецы заграницей: русскую книгу.

И если историк будет обозревать печальную судьбу двух миллионов русских изгоев, он укажет, как на единственное культурное их дело, на зарождение и развитие русского издательства на Западе.

До революции русские книги заграницей почти не издавались. Число их было ничтожно. Выпускалась в небольшом количестве революционная литература, да тощие брошюрки порнографического характера, только географические и художественные издания выполнялись в небольшем количестве в Лейпциге для ввоза в Россию. Между тем, издательство книг для одной страны в стране соседней довольно распространено на Западе.

Начавшись с отдельных разрозненных выступлений, с выпуска отдельных книг, русское издательское дело с 1920—21 г. вылилось в ряд довольно крупных предприятий, сгруппировавшихся, главным образом, в Берлине (Издательства „*Слово*“, *О. Л Дьяковой*, *Эфрона*, „*Русское Универсальное*“, „*Литература*“, „*Русское Искусство*“, *А. Э. Когана* и др.), где низкая валюта и великолепные технические условия особенно благоприятствуют книжному делу. Меньшая часть издательств разбросана в Париже („*Север*“, изд-во Поволоцкого), Вене („*Детинец*“), Софии („*Русско-Болгарское*“), Прибалтике и Скандинавии („*Библион*“, „*Библиофил*“ и пр.).

Нужно-ли объяснять, что мы считаем ценной работу заграничных издательств лишь в той части, где она касается переиздания русских классиков и выпуска переводов новых иностранных книг. Если ворох этих истинных богатств попадет когда-нибудь в Россию, новый народившийся алчущий русский читатель с благодарностью вспомнит людей, множивших для него важную и нужную, красиво и удобно изданную русскую книгу. Но с брезгливым пренебрежением пройдет он мимо нескольких десятков книг и брошюрок, где клевета о России и русской революции смешана со злобной ненавистью, где сводятся жалкие счеты с оставшимися на родине. Увы, именно эти измышления были почти единственным творчеством русской литературы и журналистики заграницей. Все остальное—перепечатки, возобно-

вление, в лучшем случае—перелицовка старого. Упрек в бесплодии, брошенный писателям-эмигрантам не один раз на столбцах их же прессы, конечно, справедлив.

Мы полагаем, что каковы бы ни были политические условия близкого будущего, русскому издательскому делу заграницей суждено еще не мало жить и развиваться. Особенно крупное будущее принадлежит ему в Германии. Несомненна только близкая гибель „эмигрантской литературы“: клеветнической, агитационной, контр-революционной и псевдо-мемуарной. Останется издание классических авторов, научных, учебных книг и популярных изданий.

Однако, в дальнейших беглых заметках на страницах „Новой России“ мы предполагаем останавливаться пока именно на чисто „эмигрантских“ книгах, в интересах осведомления российского читателя, далекого от этого рода изданий.

Не претендуя на исчерпывающую полноту, мы хотим лишь отмечать по возможности все, заслуживающее внимания на заграничном русском книжном рынке.

„Гвоздем“ последнего литературно-издательского сезона следует считать выход наиболее значительных в мемуарной литературе книг: *„Записок“ гр. С. Ю. Витте* и *„Очерков русской смуты“ ген. А. И. Деникина.*

О записках Витте отзывы сходятся на одном: записки, давая новый блестящий материал для характеристики эпохи Николая II, высшей царской аристократии и бюрократии, невольно рисуют и самого автора книги, который ярко подымается со страниц хитрым, недобрым и самовлюбленным интриганом вельможей. Интересны собственно, в книге не ее первые планы, не парадная историческая часть, а мелкие подробности, оценки и упоминания, проскакивающие среди основного материала.

Очерки русской смуты Деникина не оправдали возложенных на них надежд. Военный вождь российской контр-революции не дал настоящих мемуаров о своих боевых трудах и днях. Вместо этого он превратался в историка, в плохого историка революции, лишь местами возвращаясь к своим личным приключениям и переживаниям. В массе это весьма средняя публицистика, реакционная по содержанию и консервативная по форме. Все-таки, это наиболее ценный из современных мемуарных трудов о революции.

Прочую воспоминательную литературу надо считать товаром мало доброкачественным. Таковы:

„Архив русской революции“ под редакцией проф. *И. Гессена*—несколько пухлых томов, наполненных длиннейшими жалобами на революцию, но среди них встречаются и не лишенные исторического значения документы.

„Что глаза мои видели“ Карабчевского — неприятная старческая книга, посвященная перемыванию косточек длинному ряду уже покойных и ныне здравствующих людей.

„В царстве Ленина“, А. Терне — неуклюжий псевдо-исторический памфлет, где автор, приняв научный стиль и об'ективную мину, путает все же ЦИК и ЦК, Коминтерн с Коминделом и т. п.

Таковы и *„Записки еврея и гражданина“ Арнольда Марголина* и еще многие фальсифицированные и настоящие мемуары о революции, вышедшие за последние месяцы.

Наряду с чисто-мемуарной литературой идут книги, так или иначе поучающие (с эмигрантской точки зрения) о русской революции или рассказывающие о ней.

Примером дурно пахнущей безответственной фельетонной клеветы на Россию и революцию может служить книжка *А. Ветлугина „Авантюристы гражданской войны“*. Общеизвестные газетные факты перемешиваются здесь с вымышленными и грязно вымышленными сплетнями, несуществующими

разговорами и анекдотами, преподнесенными в качестве фактов. Рядом с этим мутным потоком грязи, стекающим с борзого пера—приличной и по своему милой кажется фельетонный том путевых заметок *„Богомолы в коробочке"* бывшего редактора журнала „Столица и усадьба" *Вл. Крымова.* В своем обычном блазированном тоне избалованного ребенка, но просто и не мудрствуя лукаво, автор делает моментальные снимки своего кругосветного путешествия во время революции. Очень характерно при этом, что даже гурману и снобу, редактору „журнала красивой жизни", привыкшему упиваться мелочами комфорта и роскоши, теперь опротивели безумные излишества верхов эмиграции и он не раз на протяжении книги злорадствует по поводу урагана революции, который должен смести „чрезмерно-красивую" жизнь...

Если далекой, недоступной России посвящено нашей эмиграцией немало книг, то о жизни самой эмиграции можно получить понятие только от... эмигрантских юмористов. Лишь они взяли на себя задачу выявить всю грусть, скуку и безверие зарубежного бытия. Яркие фельетоны *Тэффи* в „Последних Новостях" и „Свободных Мыслях", остроумная книжка *Дон-Аминадо „Дым без отечества"*, стихи *Lolo,* и *Саши Черного*, фельетоны *Арк Бухова* наконец, талантливая,- по старому талантливая книга *Аркадия Аверченко „Записки простодушного"* рассказывают о быте эмиграции. Особенно хороша последняя книга, где Аверченко, такой мертво-неудачный в стиле памфлетиста и обличителя, в прежней роли бытового юмориста вновь радостно оживает.

Зато, в заграничной беллетристике — попрежнему полное безплодие В области заграничных литературных журналов надо молча пройти мимо уже закрывшихся константинопольских *„Зарниц"* (злостно черносотенный журнальчик), мимо приличных, но скучных и неумело составляемых *„Сполохов"* и остановиться разве на изящном художественном ежемесячнике *„Жар-Птице"*. По роскоши издания, по несомненному вкусу в подборе иллюстраций журнал этот, несомненно, оставляет за собой позади не только е издававшееся до сих пор в России, но аналогичные издания в самой Германии. И все-таки... в журнале нет живого духа, нет России. Ее нет, отя все номера его целиком посвящены русскому искусству, русской литературе и жизни. Подобный журнал можно было бы издавать не только в Берлине, но и на луне: были бы только под рукой альбомы с репродукциями. Истинного же, живого трепетного духа страны в этих роскошных тетрадях все-таки меньше, чем в прежние времена в тощем номерке какой-нибудь захудалой „Всемирной Панорамы".

М. Ефимович.

Сумерки династии.

По поводу книги С. Ю. Витте «Воспоминания».

I.

Скончавшийся в 1915 году граф Сергей Юльевич Витте принадлежал к числу замечательных государственных деятелей России. Бывший министр финансов, затем председатель комитета, а впоследствии совета министров, когда-то всесильный чуть ли не временщик, а затем опальный сановник, монархист и насадитель «конституционного строя», автократ и либерал, «мировой банкир» и лакей маленького царя, реформатор и реакционер, большой творец-созидатель и крошечный чиновник,—С. Ю. Витте пробыл у власти и вблизи ее весь тот последний, самый знаменательный период русской истории, который кончился крахом монархии.

Граф Витте писал свои замечательные «Воспоминания» под впечатлением горечи обид низверженного сановника, осыпанного несправедливыми, по его мнению, клеветами со всех сторон—с правой и с левой,—под влиянием страстного чувства самозащиты и в отмщение всем тем, кто творил, по его мнению, дело разрушения старой России.

От этого книга С. Ю. Витте пропитана гневом,—качество для исторического документа не положительное. Но Витте был очень одаренным человеком богатым умом чисто практического склада. Поэтому он правдив. Раскрывая свою душу и часто рисуя свой автопортрет далеко непривлекательными красками, он не унижается до лжи, отлично понимая, что она не стоит того, чтобы компрометировать себя. И «Воспоминания», несмотря на весь свой антиисторический субъективизм, тем не менее являются ценнейшим историческим материалом, полным к тому же глубокого интереса. Книга волнует своей близостью к нам, своей современностью, своим трепетом не сгоревших еще в огне революции интересов вчерашнего дня. И недаром одна из белых зарубежных газет заметила, что «Воспоминания» С. Ю. Витте могут лежать на столе у В. И. Ленина-Ульянова, как оправдательный для октябрьской революции документ.

II.

С. Ю. Витте гибель династии предвидел так отчетливо, что можно сказать: он знал про нее.

С первой страницы читателя не может не охватить чувство и предчувствие рока, тяжкого, мрачного, кровавого рока, нависшего над Николаем II, династией и над российской монархией. Вольно или невольно следуя этим предчувствиям, министр внутренних дел И. Н. Дурново встречал царствование Николая II предсказанием, что у нас на престоле будет Павел I-ый, забывая, вероятно, его трагическую участь. И принц Уэльский, будущий английский король и император Индии Эдуард VII, поддаваясь предчувствиям, тоже вольно или невольно, заметил императрице Александре Федоровне, что у ее мужа, Николая II-го, профиль Павла... А семидесятилетний умный Альфонс Ротшильд, знавший всех сильных мира и имевший свою мерку для людей и событий, в 1904 году, при свидании с Витте в Париже, прямо заявил ему, что династия, проявляющая склонность к мистицизму, обречена на гибель...

Николай II обладал даром очаровывать людей своими манерами, голосом, обращением. Он, по словам Витте, был самый воспитанный человек из всех людей, каких только знал Витте. Но эти чисто внешние качества прикрывали самое убогое, антиморальное, а сплошь и рядом уголовное содержание.

Духовный ценз Николая II-го Витте обрисовывает такими словами: «император по нашему времени обладает средним образованием гвардейского полковника хорошего семейства». Но к этой характеристике надо прибавить еще две черты, отмечаемые Витте. Николай II не признавал и не любил «интеллигенции». Она была органическим врагом для царя. Как-то за обедом, при объезде северо-западного края, Николай II, услышав слово «интеллигенция» из уст одного из обедавших, откровенно сказал, что ему «противно» это слово и добавил саркастически, что академии наук надо приказать выбросить это слово из словаря русского языка... А когда гр. Витте при своих докладах имел неосторожность ссылаться на общественное мнение, то царь «с сердцем» говорил: «а мне какое дело до общественного мнения»?

Он рисуется в записках Витте самым заурядным армейским прапорщиком захолустного городка. Воспитанность и внешние манеры, уменье слушать собеседника и выдерживать такт и этикет прикрывали глубочайшее невежество и полнейшую государственную неосведомленность. Поэтому, при разноречии мнений, ему представлявшихся, он уподоблялся колеблемому тростнику. «Качанье на политических качелях»—такова характеристика царя в этом отношении, делаемая Витте; «он не мог склониться ни на одну, ни на дру-

гую сторону», «отменял сегодня то, что приказывал вчера» и т. д. Ни мнений, ни мужества их иметь и отстаивать он не ведал.

А кто же мог стоять близко к нему? «Император Николай II,—пишет Витте,—с трудом терпит людей, которых он почитает выше себя в моральном и умственном отношении,—только при нужде. Он в своей сфере, т. е. чувствует себя в своей тарелке тогда, когда имеет дело с людьми, которые менее даровиты, нежели он, или которых он считает менее даровитыми и знающими, нежели он, или, наконец, которые, зная эту его слабость, представляются таковыми»... Ясно, что при таком отношении к людям, для царя лучшими были—называя предметы прямо—глупые люди. Разительный образец в этом отношении представляет собою министр двора барон Фредерикс, который в течение 20 лет, до конца монархии, был ближайшим советником государя, не терявшим его «милости», а он, по словам Витте, не мог осознать ни одной мысли, ни простого факта. Для всеподданнейших докладов царю его подучивали и «натаскивали», как гимназиста...

Влиятельными у царя лицами были великие князья, о которых с большим неуважением, а порой и презрением говорит Витте, рисуя их («стадо великих князей») самыми отрицательными чертами. В особенности он останавливается на великом князе Александре Михайловиче, которого считает главным виновником русско-японской войны. Беспощадно и остроумно рисует гр. Витте портреты «двух черногорок»—великой княгини Милицы Николаевны, жены Петра Николаевича, и Анастасии Николаевны, бывшей во вторичном замужестве за Николаем Николаевичем, верховным главнокомандующим. Это настоящие горничные, пресмыкавшиеся пред царицей, а потому попавшие в фавор царю и занимавшиеся выклянчиванием всяких подачек себе и своему отцу, князю Николаю Черногорскому. Очень любопытно, что Николай II, по проискам этих «черногорок», ни мало-ни много, как подарил Николаю Черногорскому ту дань в сумме 3-х миллионов ежегодно, которую должна была уплачивать России в качестве контрибуции Турция! Эти же черногорки свели двор с знаменитым «доктором» Филиппом, мистиком-шарлатаном, убедившим Александру Федоровну в том, что она беременна, что в свое время вызвало такой некрасивый скандал,—настоявшим на необходимости открыть мощи Серафима Саровского, устраивавшем во дворце ночные радения и т. п. И по приказу царя и царицы, императорская военно-медицинская академия в Петербурге принуждена была выдать официальный диплом на степень доктора этому шарлатану, имевшему к медицине только то отношение, что у него был сын—доктор!...

Великие князья, как жаловался сам царь, «вырывали» у него приказы. Но Витте замечает, что у Николая II это было введено в систему: он постоянно, при каждой неудаче, сваливал вину на других, обвиняя их либо в том, что его обманули, либо в том, что у него «вырвали» и т. п. Сам Николай II считал себя непогрешимым. «Бог и Я»—так характеризует его взгляды в этом отношении Витте, добавляющий: «Психика полной безответственности, как здесь, так и на небе». Поэтому чувство моральной ответственности было ему совершенно чуждо. У него была атрофирована способность моральной самооценки и, повидимому, он не знал, что такое совесть...

III.

Придворная среда, влиявшая на царя, была не лучше: сам царь подбирал себе по своему уровню близких. Поэтому Витте с негодованием говорит «о смердящем влиянии придворной камарильи», которая в этой сатурналии сгнившего самодержавия играла такую пошлую роль. И, действительно, проходят пред нами деятели эпохи Николая II, и мало о ком можно сказать доброе слово. Любопытно отметить, что Николай II последовательно назначил министрами внутренних дел Сипягина и Плеве. А между тем К. П. Победоносцев, слушать которого повелевал Николаю II-му завет его родителя, Александра III-го, рекомендовал их царю в самых упрощенных выражениях:

первого, как «дурака», а второго, как «подлеца». Но ведь был у Николая II министром внутренних дел и П. Н. Дурново, о котором Александр III написал на докладе: «убрать этого мерзавца в 24 часа», был и министром иностранных дел Лобанов-Ростовский, о котором тоже Александр III в резолюции выразился, как о дураке, а преемником его граф Муравьев, которого Витте характеризует, как «типичного легкомысленного хлыща», «игравшего роль шута при дворе и имевшего счастье забавлять их величества, особенно молодую государыню, своими анекдотами... весьма плоского свойства»...

Если прибавить к этому чисто личные черты Николая II-го, скрытые умело внешним лоском, то получится портрет типичного выродженца. Неустойчивый в духовном отношении, он морально стоял на весьма низкой ступени. Ряд страниц Витте рисует его, как коварного, лживого, злого, вероломного, криводушного, хитрого, лукавого и мстительного человека. Это было существо, которое готово было предать при самой очаровательной улыбке и при самых милостивых словах. Надеяться и положиться на него нельзя было. Не из храброго десятка, он, как говорит Витте, молчаливо лгал... Любопытен факт, рассказываемый Витте с ссылками на многих свидетелей, между прочим, на гр. С. Д. Шереметева.

Министр внутренних дел Сипягин не отличался умом, как известно. Проводил он строго реакционную политику, причем откровенно говорил, что царь находит недостаточным такую реакционность и требует большего. Но при своей ограниченности, он был правдив и не раз жаловался жене своей на «коварство» царя. Он вел дневник и в него, со всей своей неумной прямотой, вносил все свои впечатления от царя, конечно, отрицательные. После смерти Сипягина дневник его попал в руки царя,—царь вежливо просил у жены Сипягина разрешения прочитать его. И кончилось дело тем, что Николай II уничтожил компрометировавший его дневник... Мало этого: чтобы отвести от себя подозрение, он наклеветал на дворцового коменданта Гессе, высказав предположение, что именно Гессе уничтожил дневник, потому что в нем были неблагоприятные отзывы о дворцовом коменданте...

В таком же стиле и другой факт. Николай II, якобы по ошибке, передал военному министру Сахарову дневник Куропаткина, в котором Сахаров мог прочитать самую отвратительную для себя характеристику.

IV.

Ограничиваясь этими, невольно отрывочными данными, отметим роль Николая II в войне. Склонность к войне у Николая II была с самого начала царствования, когда он едва-едва не пустился в авантюру с занятием Босфора. Затем авантюра русско-японской войны, которой Витте посвящает ряд блестящих страниц в своей книге, — была проведена исключительно лично царем, который действовал тайно, за спиной своих министров, скрывая от них свои распоряжения. И ответственность за войну, таким образом, ложится на Николая II. Интересно, что хорошо знавший царя Витте пишет: «я думаю, что если бы не разыгралась война с Японией, то явилась бы на границе Индии и в особенности в Турции из-за Босфора, и она затем распространилась бы»...

И как заключительный аккорд—рассказ Витте о том, как Николай II, при свидании с Вильгельмом II в Бьерке, заключил с Германией формальный военный союз против Франции, с которой Россия была в союзе... Витте с большим трудом удалось уничтожить этот акт тайного коварства и предательства по отношению к Франции...

Кошмарные картины проходят одна за другой. Гибель монархии чуется в каждой строчке. И тот, кто верит еще в возможность возрождения монархии в России, пусть тот в особенности внимательно прочитает эту замечательную книгу,—надгробный памятник и монархии, и дому Романовых...

А. Ожигов.

Из эмигрантской печати.

РУССКИЕ В ВИЗАНТИИ.

Этот осколок константинопольской жизни мне хочется написать в благодарной форме исторического романа—так он красочен...

* * *

Стояло ясное, погожее утро лета 1921 года.

Впрочем, нет. Стоял вечер.

Автор начинает с утра только потому, что все русские исторические романы начинаются этой фразой.

А на самом деле стоял вечер, когда произошла завязка этого правдивого бытового романа.

Граф Безухов, не доложившись, неожиданно вошел в комнату жены и застал последнюю (она же была у него и первая)—в объятиях своего друга князя Болконского.

Произошла ужасная сцена.

— Милостивый государь!—вскричал взбешенный муж.

— Милостивый государь?

— Вы знаете, что вами осквернен мой семейный очаг!!?

— Здесь дама, прошу вас не возвышать голоса. Орет, сам не знает, чего.

Закусив нижнюю губу, бледный граф, молча, сдернул со своей руки перчатку, сделал два шага по направлению к князю и бросил перчатку прямо в лицо врагу.

— Надеюсь, вы понимаете, что это значит?!—угрюмо сказал он.

— Готов к услугам,—холодно поклонился князь Болконский.

Мои секунданты будут у вас в 10 часов утра.

— Хоть в 9,—с достоинством ответил князь, отыскивая свою шляпу.

* * *

По соглашению сторон, поединок решен был на завтра, на дуэльных пистолетах.

Выработав все условия и подробности, секундант графа, полковник Н., спросил у княжеского секунданта гусарского корнета Ростова:

— Теперь—последний вопрос: у вашего доверителя есть дуэльные пистолеты?

— Никаких нет.

— А у вас?

— Откуда, голубчик? Я из Севастополя эвакуировался с маленьким ручным чемоданчиком... До дуэльных ли тут пистолетов!

— И у моего нету. Что же теперь делать? Нельзя ли у кого нибудь попросить на время? Например, у барона Берга?..

— Нашли у кого просить! Барон на Пере „тещиными языками" торгует с лотка—неужели, вы думаете у него удержится такая ценная штука, как ящик с дуэльными пистолетами. Загнал!

Огорченные, разошлись секунданты по своим доверителям.

— Ну, что?—нетерпеливо спросил бледный, с горящими глазами граф Безухов.—Все готово? Когда?

— Чорта-с два готово! Пистолетов нет.

— Вот тебе раз! У барона Берга нету-ли?

— „Тещины языки" есть у барона Берга. Не будете же вы драться тещиными языками!

— Может, в магазине можно купить? Если не дорого...

— Ваше сиятельство, что вы! В константинопольском магазине!? Дуэльные пистолеты? Да на кой же их шут будут держать? Для греков, торгующих маслинами и халвой?.. Нашли тоже Онегиных!.. Они больше норовят друг друга по шее съездить или—еще проще—обсчитать на „пенды-грош", а не дуэль! Заверяю вас, что среди местных греков нет ни Ленских, ни Печориных...

— Гм! Дьявольски глупо... Не отказываться же из за этого от дуэли!

— Впрочем, попытаюсь пойти еще в одно место: в комиссионный магазин „Окказион"—не найду ли там?..

* * *

— Здравствуйте. Чем могу служить?

— У вас есть дуэльные пистолеты?

— Помилуйте, все есть! Ковры, картины, бриллианты, курительные трубки...

— Ну, на кой мне чорт курительная трубка? Из нее не выстрелишь.

— Пардон, стреляться хотите? Дуэль?
— Не я. Я по доверенности.
— Ага. Так, так. Присядьте! Ну, желаю удачи. А пистолетики найдутся. Вам пару?
— Не четыре же! Это не кадриль танцевать.
— Нет, я в том смысле спросил, что, может, одним обойдетесь?
— Что вы за чушь городите! Какая же это дуэль с одним пистолетом?!
— А почему же? Сначала первое лицо стреляет, потом, ежели не попал, передает партнеру, тот стреляет и так далее. Экономически-с.
— Подите вы! Сколько стоит пара?
— Для вас? Двести лир.
— Вы с ума сошли! Они и шестидесяти не стоют!
— Не могу-с. А пистолеты такие, что поставьте в затылок пятерых—пятерых насквозь пронижет.
— Ну, вот! Что-ж мы для вашего удовольствия еще четыре пары дуэлянтов подбирать будем? Уступите за сто.
— И разговору такого нет.

* * *

— Ну, что?!
— Чорт его знает—с ума сошел человек! Он, может, из человеколюбия, но нельзя же драть двести лир за пару! Скажите, сколько вы ассигнуете?
— Мм... Могу отдать все что имею—сорок лир.
— Впрочем, с какой стати вы сами будете нести все расходы. Вот еще! Пусть противник принимает на себя половину!
— Послушайте! Удобно ли обращаться... по такому поводу?
— В Константинополе все удобно! Я с него и за доктора половину сдеру!..

* * *

Колесо завертелось.

Полковник Н. пошел к корнету Ростову и потребовал, чтобы его доверитель князь Болконский заплатил свою долю за пистолеты—40 лир; корнет пошел к князю—у князя нашлось только 25 лир; корнет отправился к полковнику, но полковник нашел, что шансы не равны, и предложил взять доктора—на счет князя; потом оба пошли в комиссионный магазин и стали торговаться...

Хозяин уступал за полтораста (без зарядов); секунданты давали 60 с зарядами; не сойдясь, оба разошлись по своим доверителям за инструкциями; граф предложил полковнику Н. взять пистолеты на прокат; полковник отправился к корнету Ростову; оба отправились в комиссионный магазин; хозяин согласился на прокат, но просил залог в полтораста лир; оба снова разошлись по доверителям; один из доверителей (граф) согласился дать в залог брошку жены (100 л.) с тем, чтобы князь Болконский доплатил остальное; корнет Ростов отправился к князю, но у князя оказалось всего на всего 15 лир; граф передал через своего секунданта, что князь саботирует дуэль, а князь ответил через своего секунданта, что бедность не саботаж и что он, если и задолжает графу за пистолеты, то впоследствии, когда будут деньги, отдаст; граф чуть было не согласился, но жена его возмутилась: «С какой стати,—говорила она,—раз шансы не равны: если он тебя убьет, он этим самым освобождается от долга, а если ты его убьешь—ты с него ничего не получишь... Я вовсе не желаю терять на вашей дурацкой дуэли!». Граф возразил, что это не дурацкое, а дело чести; графиня ответила в том смысле, что дескать—какая честь, когда нечего есть; из комиссионного магазина пришел мальчик и простодушно спросил: «а что теи господа будут стрелять друг у друга или отдумали, потому как, может, найдутся другие покупатели—так отдавать, или как»? Граф послал его к князю Болконскому, графиня послала его к чорту, а он вместо этого, раскрыл зонтик от дождя и побежал домой.

Наступила осень.

* * *

О, Ленские, Печорины, Онегины и Грушницкие! Вам-то, небось, хорошо было выдерживать свой стиль и благородство, когда и пистолеты под рукой, и камердинеры собственные, и экипажи, и верховые лошади... Дуэль? Пожалуйста! Такое-то место, такой-то час, деремся на пистолетах»... А попробуйте, милостивый государь, господин Ленский, пошататься по «оккказионам», да поторговаться до седьмого поту, да войти в сношение с Онегиным на предмет взятия на себя части расходов, да получить от Онегина отказ, потому что у него «юс-пара» в кармане... Так тогда—не «умру-ли я, стрелой пронзенный» запоете, а совсем из другой оперы:

— Помереть не померла,
Только время провела.

* * *

Бедные мы сделались, бедны .
И прилично ухлопать-то друг друга не имеем возможности!

Аркадий Аверченко.

(Из книги „Записки Простодушного“,
Константинополь).

Библиография.

ЗАКЛЯТИЕ МЕЧТОЙ.

Федор Сологуб. „Заклинательница змей". (Роман).

Еще очень недавно, когда напечатать книгу в России было почти невозможно, много говорили и писали о громадном запасе готовых и не имеющих возможности появиться на свет рукописей, который будто бы имеется у наших писателей.

Теперь, когда выход новой книги стал снова повседневным явлением, стало очевидно, что разговоры эти были в большой степени раздуты. Очевидно, не только печатать, но и писать было трудно. Не оправдываются эти слова, пожалуй, только в отношении Федора Сологуба, который в течение одного последнего года издал четыре сборника стихов и две книги прозы. Может быть, интересней из них является его последний роман «Заклинательница змей», первый вышедший в России, после громадного перерыва роман.

Фабула его несложна. Богатый фабрикант Горелов встречает одну из своих фабричных работниц Веру. Последняя пробуждает в нем недремлющую страсть, которая охватывает его негасимым пламенем. Вера, революционерка, требует в уплату за любовь передачи фабрики рабочим. Горелов, только что окончательно разочаровавшийся в своей семье, без колебания составляет и передает Вере завещание, по которому все его имущество отходит ей. В это время на фабрике происходит забастовка. Горелов, переживший семейное потрясение, запутавшийся в себе, переживает событие на фабрике особенно остро, сразу оседает, в припадке предсмертной слабости тела и веления духа отпускает Веру нетронутой и через пару часов умирает. Жених Веры, выследивший ее, когда она возвращается из тайного домика Горелова, не верить ее невинности и закалывает ее.

Такова фабула. Все это на фоне социальной борьбы. Богатая и распутная семья фабриканта со всякими прихлебателями и тунеядцами—змеиное гнездо: один лагерь. Другой: рабочий поселок, глухо волнующийся, ведущий непрерывную борьбу, пытающийся разорить это гнездо. Тут же и целый ряд обычных аксессуаров «бытового» романа: любовные интриги, разные «типы» богатой молодежи, балбес сын, милая Милочка дочь, жестокая племянница, которая бьет свою горничную, подслушивания за дверьми и на чердаке, пикники, демонстрация, два убийства и т. д. и т. д.

С виду обыкновенный социально бытовой роман из жизни приволжского городка за несколько лет до войны.

Но Сологуб никогда не был бытовиком. Только близорукая критика не усмотрела в «Мелком бесе» ничего, кроме типа гимназического учителя провинциального города.

И здесь Сологуб, слегка иронизируя над бытом, отрицая бытие, строит свое здание над тем и над другим.

Не только быт с его мелочами и ничтожными, бессмысленными треволнениями, но и самое бытие, самое существование людей и предметов приобретают у Сологуба какой-то эфемерный характер. Человеческое тело и человеческое сердце, восход солнца и речные волны, и белое платье, кажущееся «внятным нарядом печали» и седеющая борода с янтарным оттенком послезакатных облаков—все это эфемериды, все это—только тени, которые отбрасывают какие-то невидимые и непостижимые предметы. Все это марионетки, которыми движет единственная мировая сила, создающая и каждое мгновение преобразующая мир—Мечта.

Заклятие мира мечтой, преобразующей волей искусства это постоянная тема Сологуба. «И что может остановить человека, если его увлекает золотая мечта».

«—Милая мечта обманывает человека и приводит его не туда, куда он хотел придти. Но мечта всегда правее разума, и всегда человек должен слушаться ее, и идти за нею, исполнять волю того, кто умеет чаровать, как мы, люди, не умеем. Земная жизнь наша—трудный и темный путь в великой пустыне мира, и благословение Бога над тем из нас, кому дана мечта, кого ведет мечта. Даже и погибая, он счастлив,—он видел то, чего другим не дано видеть, он отмечен печатью высокого избрания (стр. 127).

Мечта, колдующая и завораживающая мир, околдовывает прежде всего создавшего ее... Человек, создавший мечту, уже весь во власти ее, не волен освободиться от нее.

«Вера говорила:

— Каждый должен нести свой крест. Мой крест я не сама выбрала. Дана мне красота великая, и вместе с красотою дана страшная власть чаровать людей и змей.

Назвала себя заклинательницей змей; думала так, просто пошутила. А потом самой стало страшно. Нет, это—не шутка, это—правда. Сама не знаю почему, но в эти дни я ни о чем другом и думать не могу» (стр. 123).

И над всем, и прежде всего над Верой царила эта поборающая и неосильная власть заклятия.

Любопытно, к каким разнообразным приемам прибегает Сологуб, чтоб придать всему существующему характер призрачности, невещественности.

Очень редко выдает себя Сологуб непосредственным заявлением такого рода: «Над Волгою стлался легкий туман, а потому закат казался дивным сновидением» (стр. 95).

Чаще он старается уменьшить, затушевать вещественные признаки предметов, прибегая то к многочисленным уменьшительным словом (*уголок, струйки, барашек, плечико, колечко, лямочки сарафанчика* и т. д. и т. д.), то к неопределенным цветам: *тускло*-кирпичный, *смутно*-розовый. Нередко он смещает предметы с обычного места путем неожиданных сравнений и сопоставлений. Этой же цели служат и коротенькие главы. Частый перерыв между главами, иногда как будто никем не оправданный, служат паузой, ничем не заполненной, потому что нельзя передать словами и образами, всегда по существу вещественными, того, что лежит над ними.

Непередаваемо и то, что делается в человеческой душе. Она всегда не в своей власти, никогда не понимает себя сама, всегда ею владеет то *лукавый, черный беспалый* (Сологуб издавна фамильярен с чертом), то свет, ангел. Она то «вся занялась восторгом», то «черное пламя метнулось», то она «тяжелою злобою шептала», то в ней неожиданное томление, то беспричинная жуть. Но чаще всего «все в ней было раскидано, как в неубранной горнице, где похозяйничал чужой, проказливый, без хозяина,—и вот внешние впечатления рождали только неясные и глухие отзвуки» (стр. 153).

Как все прочее, эфемерна человеческая душа, все ее переживания, впечатления и ощущения, пока не озарена она не меркнущим светом мечты, на мгновение дающей истинное бытие искусством. «Бедная плениная душа, восстань и сгорай в пламени сладостной веры».

В романе Сологуба есть и внешняя занимательность. Осторожное и умелое разви, тие сюжета не дает предугадать читателю что ждет его дальше. Автор умеет на время заставить читателя забыть о каком либо герое, чтобы следующее его появление сделать неожиданно-ожиданным (появление Сонягина в последней сцене), умеет как будто случайно сказанным словам придать потом неожиданный смысл, заставляя, так сказать, ретроспективно, воспринять их снова в углубленном аспекте (предсказание Разина: «И ты умрешь. Не знаю даже успеешь ли ты порадоваться тому, что сделала так, как хотела»—стр. 128).

Если в чем либо можно упрекнуть Сологуба, то это в не совсем удачном плане композиции. В романе 116 главок, а в сотой еще читатель думает, что он только вводится в роман, а чуть ли не на следующей странице его ждет уже развязка.

Есть что то роднящее Сологуба с Гоголем и в их общей неуверенности в твердости бытующих предметов и явлений, в случайности внешних тем, не определяющих их творческого отношения к миру, порою в стиле лирических отступлений, вопросов и сентенций. И тот и другой из какого то «прекрасного далека», с иной планеты смотрят на то милую, то грубую и злую землю, на верующих в свое существование бедных пленников ее.

Д. Выгодский.

ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ.

Среди вышедших за последнее время маленьких книжек молодых, неведомых авторов — серьезной настоящей литературой повеяло на меня от небольшого альманаха „Пересвет", вышедшего в Москве в конце прошлого года. В нем помещены стихи Ф. Сологуба, М. Цветаевой, Г. Чулкова, итальянские воспоминания „Пино" М. Осоргина и, наконец, „Терновый венец", повесть Александра Яковлева, которую нужно признать одним из крупнейших литературных явлений последнего времени.

„Терновый венец" — собственно, даже не повесть и не рассказ, потому что фабулы, сюжета здесь совершенно нет; и в то же время—это настоящая, высоко-художественная беллетристика, в истинном значении этого слова.

Молодой автор описывает голод в Поволжье. Но как описывает! От этого эпического спокойствия, от простоты, с какими он рисует душу потрясающие сцены, волосы становятся на голове дыбом.

Все содержание „Тернового венца" сводится к тому, что население небольшой деревушки, пораженной неурожаем, бросает родные, насиженные места и, нагрузив свой скарб на возы, устремляется к Волге, чтобы, перебросившись на ту сторону, добраться до какой-то обетованной страны, где земля родит, где есть хлеб.

Семь дней ехали. „И все семь дней солнце огненными ногами ходило по земле". Жуткий образ этого солнца-голода дает Яковлев вначале повести: „Утром оно вставало без блеска, как мутный багровый шар, и в миг наполняло весь мир огневыми стрелами. В неверном мареве выползало оно на небо — синеватое над головой и бледно-серое, густо запыленное над дальними полями. Чем выше поднималось оно—тем становилось злее. На всей равнине не было черного пятна, на чем бы отдохнул глаз. Все *мрачно сверкало* (курсив мой *В. Л.*), даже сожженная земля. Тончайшая пыль, как огненный, сверкающий туман, висла в воздухе"... И дальше: „Зной лился густой, непроглядный. Виделось: все вдали движется. Трепетно переливается над полями огненная, прозрачная вода—справа, слева, спереди. Переливается быстрыми, мелькающими волнами. Не было облачка на небе,

И солнце казалось *голым в своем одиночестве*"... (курсив мой *В. Л.*).

У Яковлева в картинах природы—четкий, твердый, верный рисунок, свои краски, своя манера класть их. И персонажей своих он рисует так же чисто, отчетливо, крепко, лаконично. Дед Лука нарисован всего в трех строках: „Узловатый, уродливый, как старый корень, вывороченный из земли. Все лицо в морщинах—*тонким кнутиком исхлестано вдоль и поперек*"... (курсив мой).

Обоз движется медленно, несмотря на все желание бегущих от голодных мест поскорее притти в обетованную землю, потому что дорожные запасы скудны и грозят скоро истощиться. Едут, останавливаются для отдыха лошадей, спят, опять едут. Движение обоза по пустым, мертвым, сожженным „солнцем—зверем" полям, в которых ничего не осталось живого—даже „слепни все сдохли, от жары, в болотах" — мучительно-однообразно... Часто это однообразие нарушается страшными встречами на дороге брошенных трупов погибших от голода людей, бежавших, так же, как и эти, из своих, пораженных „гневом Божиим", деревень, и так и не увидевших „хлебной" земли. Хоронить мертвецов некому: все напуганы, все думают только о спасении своей жизни, даже заболевших, еще живых, заживо бросают на дороге, и они гибнут в пустынной степи, как „челноки в море"...

Единственная отрада, которую испытывают голодные беженцы—это стоянка у степной речки. Но и здесь, у этой благодатной речки, таились духи злых болезней, порождаемых страшным зноем солнца. Кузьмич, один из главных персонажей повести, после купанья в реке, лег на берегу, на горячем песке, греясь на солнце. И заснул. И проснулся уже совершенно больным. И уже всю дорогу не мог оправиться...

Все дальнейшие события автор дает уже сквозь бред полузатуманенного сознания тяжко больного не то горячкой, не то голодным тифом, Кузьмича. Тут и избиение лошади, застрявшей при переправе через речку и тут же околевшей от побоев; и покинутые с обозом хозяева этой лошади, обреченные мучительной смерти от голода в сожженной степи, кричащие с тоской предсмертного ужаса вслед уходящему обозу: „Батюшки, не оставьте..." И болезнь мальчика, исходящего от голода кровью, смерть его и торопливые похороны в степи. И, наконец, бесконечная, кошмарная стоянка у Волги, в ожидании переправы на другой берег.

Здесь скопилось несметное множество народу; весь берег на огромном пространстве запружен людьми, лошадьми, телегами. А перевозит на ту сторону всего один пароход с паромом на буксире. Люди ждут неделями, заболевают от истощения, голодного тифа, умирают ежедневно десятками, сотнями. „Злые лица глядели на Кузьмича со всех сторон. Это был стон диких... Весь воздух был полон тоски и зла"...

Кузьмич в жару, в бреду. Все окружающее его представляется ему адом—эти ожесточившиеся, озверевшие в бесконечных страданиях, люди, огни и дым ночных костров, крики, вопли, неистовая ругань, страшная, кошмарная сцена голода и смерти. Он видит, как молодая баба бросает в реку своего ребенка, потому что ее тощие груди пусты и ей нечем его кормить: как люди на берегу мрут и мрут. Живые еще лежат на земле, с унылыми глазами, — вялые, тупые, как бревна. И ждут смерти. Им все равно. Жуют траву. Так и умирают с полным травы ртом. Умерших не хоронят, только оттащут в сторону и бросят. Убивают один другого из-за куска хлеба. С'едают своих собак, пришедших с ними из деревни...

И больной Кузьмич думает: „Бог. Какой это Бог? Это гнус, отребье. И русский народ—это толпа бродяг без родины и Бога. Он гибнет, тает—и пусть..." И дальше: „Как понять тебя, Великий и Бессмысленный, Святой и Подлый Народ. Благословлять или проклинать тебя на всех путях твоих?.."

Но вот и последний акт трагедии. Наступил день, когда для этих людей „не осталось уже ни Бога, ни ада, ни пулеметов, ни тюрьмы, ни расстрелов". Им уж нечего было терять. Подошел пароход с паромом—и обезумевшая от страданий и ужаса толпа ринулась вся на пристань, уже не соблюдая никакой очереди. Били оглоблями по головам, детей и женщин выбрасывали из возов под ноги взбесившихся лошадей. Мостки гнулись, трещали. Толпа сзади, в бешенном иступлении, напирала, у мостков уже шло настоящее сражение. Люди падали в воду, тонули, погибали, задавленные, под ногами... И вдруг крики: „Уходит. Уходит..." „Это уже не крик. Это стон, полный безнадежности. Звериный вой..." Пароход, в самом деле, уходит и уводит за собой паром, никого не взяв: его перегрузили бы и затопили...

В заключение автор рисует как бы апофеоз страданий русского народа. Но это уже лишнее. Страдания и ужасы, переживаемые голодающими людьми, так ярко изображенные в повести, уже сами по себе достаточно убедительны и не нуждаются в иллюстрировании их еще какой-то аллегорией, изображающей мальчика, которому некая Белая Дева надевает на голову терновый венец. Это так же надуманно, как и сама эта Белая Дева, несколько раз на протяжении повести являющаяся больному Кузьмичу в виде бредового видения. Этим апофеозом, в сущности, единственным слабым местом повести и заканчивается повесть А. Яковлева,—повторяю—единственное пока крупное явление в нашей возрождающейся литературе.

Несмотря на всю злободневность темы, автор „Тернового венца" с'умел удержаться в пределах художественного изображения, хотя подобного рода темы представляют огромный соблазн для рассуждений и выводов чисто общественного характера...

Вл. Ленский.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ КАМЕНА.

(Из впечатлений последних лет).

Москва и Петербург всегда были различны по своему литературному облику. Если верить, что каждый город имеет свою „душу", то нужно поверить и тому, что эта душа накладывает неизгладимый отпечаток на подвластных ей людей. После „Петербурга" Андрея Белого отрицать это невозможно. И не только „Петербург", — вся петербургская литература (поэзия в частности и в особенности) отмечены печатью чародейного города, великолепного и загадочного, о котором так хорошо сказала З. Гиппиус: „Созданье революционной воли,—прекрасно-страшный Петербург".

Петербургская поэзия—это целая полоса, целая эпоха в истории русской литературы. Впервые голос Петербургской Камены зазвучал в стихах А. Блока. Не замолк ли он со смертью Блока? Может быть, мы слышим теперь только эхо прекрасного голоса? Тихое эхо, умирающее и уже заглушаемое иными голосами? Может быть, есть и среди новых голосов такие, к которым стоит прислушаться? Несомненно лишь то, что со смертью Блока кончился какой-то совсем своеобразный, совсем обособленный и очень „петербургский" период русской поэзии. Двадцатилетие 1901 („Стихи о прекрасной Даме")—1921 (Смерть Блока) охватывает ряд чудеснейших поэтических достижений, связанных с именами Блока, Кузьмина, Сологуба, Гумилева, Ахматовой. Есть люди, думающие, что Прекрасная Дама—умерла. Простаки и невежды не знают, что Красота бессмертна. Трагизм заключается только в том, что иногда Она становится незримой, уходит, скрывается от людей, недостойных ее лицезреть. От современных поэтов зависит ее участь. „Творимая легенда" в их руках. Явление Красоты, действенное и целящее, зависит от них, служителей Парнаса.

М. Кузмин и А. Ахматова — вот имена вполне „петербургские", вполне достойные славных петербургских традиций. Следует добавить—и царскосельских. Там, в тишине старого парка, еще живет муза Ин. Анненского, нашего раннего символиста, родоначальника нежнейшего лирического жанра, сочетавшего утонченные фиоритуры французского декаданса, с бездонной глубиной „достоевщины". Его влияние распространилось на целую плеяду поэтов, из которых Ахматова, Кузмин и Гумилев сумели продолжить его линию вне простой подражательности. Из молодых особенно „подчинился" Анненскому Всев. Рождественский, взявший от своего учителя если не трагическую обостренность мысли, то, по крайней мере, внешнее изящество („Золотое веретено", „Лето").

Среди современных *поэтесс* очень мало *поэтов*. Отчасти в этом и таится причина успеха Ахматовой. Она несомненный и большой поэт. Но при всей симпатии к удивительной задушевности и тонкой архитектонике ее стихов, нельзя не сказать, что дарование ее совершенно „стоячее", статическое, однообразное до боли, до пресыщения. С Кузминым ее сближает то, что оба они замкнулись в тесной круг психологии „любовных" переживаний, причем их любовь не Платоновский эрос, а „комнатная" нежность и „домашние" драмы. Но широкая эрудиция, настоящая, не на прокат взятая, культура Кузмина дали ему возможность развернуть свою тему так, что она стала неповторимой и единственной по разнообразию и великолепию своих мотивов. „Взыскательный художник" сам ограничил себя и, ограничив, поднялся на очень значительную высоту. „Нездешние вечера" и „Эхо" говорят об этом с убедительной ясностью. Стихи же Ахматовой дают отчетливое ощущение того, как непроизволен, как предопределен круг ее переживаний. В последних книгах ее („Подорожник", „Anno mundi MCM. XXI) все чаще—варианты и реминисценции. Ее субъективизм становится манерностью. Она зашла в какой-то тупик, загипнотизированная незамысловатыми тревогами собственного „я", и ничего не ищет, не хочет восхождения, не хочет духовного роста. Если бы не чарующая прелесть простых и чистых словосочетаний, лирика Ахматовой омертвела бы в своем тупике. Красоте дано „спасти мир",— спасает она и Ахматову.

Вполне поэтом является М. Шагинян. Повторно изданные „Orientalia" одна из лучших книг последнего времени.

Возвращаемся к „мэтрам". Если можно противопоставить Блоку кого нибудь из современников, то в качестве антипода назовем Н. Гумилева.

Блок и Гумилев не только разные мироощущения, это — разные стихии творчества. Это Моцарт и Сальери нашей поэзии. Блок вещал, Гумилев выдумывал. Блок творил, Гумилев изобретал. Блок был художником, артистом. Гумилев был мастером, техником. Блок был больше поэтом, чем стихослагателем: поэзия была ему дороже стихов. Гумилев был версификатором, филологом по преимуществу. „Я угрюмый и упрямый зодчий Града, восстающего во мгле"—сказал о себе Гумилев („Огненный столп"). И в самом деле он был строителем прежде всего. Стихи не вылетали у него, как „пух из уст Эола", а чеканились, как ювелирная вещь, строились, как архитектурное сооружение. Не то, у Блока. Он жил не стихами, но поэзией. Потому и умер, что не мог больше дышать поэзией, т. е., воздухом поэта.

Известно, что последнее время Блок почти не писал стихов. Издавались старые его стихи. Переизданный „Алконостом" третий том его стихов (в который автор внес много нового) — самое ценное из всего напечатанного в последнее время. Полная глубочайших символов, откровений и пророчества, обольстительная и вместе с тем пугающая книга. Вновь и вновь перечитывая волнующие строки Блока, прикасаясь к его тревожным думам, к его безбрежной тоске и несравненной нежности, мы чувствуем до ужасов реально, как год за годом приучал он усталую душу „к вздрагиваньям медленного хлада".

„Что было *здесь* ей ничего не надо,
Когда *оттуда* ринутся лучи".

Андрей Белый в своей превосходной речи памяти Блока (в Вольфиле, 28 авг. 1921 г.) дал исчерпывающий образ идейного содержания Блоковской поэзии, раскрыл ее великий смысл, ее мировое значение. После этой речи (воспроизведенной потом в сборнике „Памяти А Блока"), должны, наконец, смолкнуть голоса немногих, но яростных, хулителей покойного поэта. Единственный поэт современности, заслуживающий названия национального—Блок. Пышная реторика и космические мотивы Бальмонта, похоронная мечтательность и однообразная эротика Сологуба, схоластическая рассудочность и филологическая экзальтация Вяч. Иванова, космополитизм и универсальность Брюсова не дают им права на звание национальных поэтов. Не заслуживает этого имени и Белый, с его вычурной манерностью и патетическим мудрствованием, Белый, так верно сказавший о себе:

„Я стилический прием,
Языковые идиомы".

Только Блок, завладевший самыми сокровенными смятениями русской души, является поэтом народным.

„Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви...
Тебя жалеть я не умею
И крест твой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойничью красу.
Пускай заманит и обманит,
Не пропадешь, не сгинешь ты,
И лишь забота отуманит
Твои прекрасные черты"...

Благословляющей и проклинающей любовью любил Блок Россию: оттого сквозят его песни и нежностью и гневом. „Поэзия Блока", — скажем словами Белого (сборник „Ветвь", М. 1917) — „цветок страшных лет русской жизни: неудивительно, что в поэзии этой перепутаны *Имя* и *путь*; русская действительность зачастую была роковым смешением путей, нас ведущих к катастрофе в плане личном и социальном; выразителем смятенной души в ее духе и в теле был Блок".

Особняком стоит группа „эстетов", которых можно было бы разделить (очень условно и приблизительно) на пассеистов и новаторов. К первым можно отнести Георгия Иванова, В. Ходасевича, Георгия Адамовича, отчасти „парнасца" М. Лозинского и „акмеиста" Мандельштама. Вторая группа очень многочисленна. Для примера назовем С. Нельдихена, новизна которого, впрочем, очень не нова. Деятельное любование миром составляет основную черту эстетизма. При этом „эстеты", также, как и акмеисты, изображают в сущности не прекрасное, а свое ощущение от него. Иногда это очень немного Например, поэтическое „credo" Георгия Иванова отлично выражено в одном из последних его стихотворений

„И что в человеческой участи
Прекраснее участи птиц,
Помимо холодной певучести
Немногих заветных страниц?"

В отличие от сентиментального Г. Иванова, О. Мандельштам не ограничивается рамками „холодной певучести". Он любит и ценит мысль, и некоторые его „афористические" стихи переживут своего автора.

Стихи В. Ходасевича („Путем зерна" хороши своей простотой, ясностью и благородством. Поэт не очень изобретателен, не богат изобретательными средствами, но требователен к себе и осторожен.

С. Нельдихен („Органное многоголосье") уверен, что воскресил в наши дни „библейскую прозу". Старается он также походить на Уата Уитмэна. О чувстве собственного достоинства, воодушевляющем его, могут дать понятие хотя-бы следующие строки:

„Иисус был великий, но односторонний мудрец,
И слишком большой мечтатель и мистик;
Если-бы он был моим современником,
Мы-бы все же сделали с ним многое, очень многое...

Н. Оцуп („Град") находится еще в поре ученичества: голос у него еще ломкий, „срывающийся", но иногда берущий отчетливые и звучные ноты. Он ведет свое „происхождение" от Гумилева, находясь также в столь близком родстве с Нельдихиным, что иногда отождествляет себя с ним („мне показалось, что и Нельдихен — это я"). Если Оцупу не наскучит роль „выдумщика", он додумается когда нибудь до совсем хороших стихов. К „последним могиканам" петербургского символизма принадлежат Ф. Сологуб, Конст. Эрберг и Вл. Пяст. Впрочем, последний в настоящее время, кажется, не очень настаивает на символизме. Новые книги Ф. Сологуба („Фимиамы", „Одна любовь", „Соборный благовест") ничего не прибавляют к характеристике этого выдающего художника слова.

Интересные и способные люди есть среди пролетарских поэтов. Как ни странно, большинству из них лирические мотивы удаются лучше гражданских (Маширов, Бердников, Садофьев, Ионов).

Вопреки мнению, что „inter arma silent musae", ни война, ни Революция не заставили умолкнуть Петербургскую Музу: напротив, разнообразнее и звучнее стали ее песни. Она с нами, она не оставила нас в суровые, жестокие годы испытаний. В античном мире Музы принимали участие не только в веселых праздниках (как например, на свадьбе Пелея и Фетимы), но участвовали и в горе смертных (после кончины Ахилла). Они и поныне делят с нами восторги и печали. Радостью и тишиной наполняется душа, вспоминая в земном странствии, что они — с нами, светлые Пиериды, бессмертные подруги Мусагета.

Э. Голлербах.

Ответственный редактор И. ЛЕЖНЕВ.

0.30

Цена 75 коп. золотом.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

„ACADEMIA".

Руководители: Проф. **Н. В. Болдырев** и **А. А. Кроленко.**

Петроград, Литейный, 40.

ЖУРНАЛ ПЕТЕРБУРГСКОГО ФИЛОСОФСКОГО ОБЩЕСТВА

„МЫСЛЬ"

выходит раз в два месяца книжками в 10—12 листов, под редакцией: Э. Л. Радлова и Н. О. Лосского.

Вышел и поступил в продажу 1-й номер (январь-февраль).

Содержание: от редакции.—**Н. О. Лосский:** Конкретный и отвлеченный идеал-реализм.—**Н. В. Болдырев:** Бытие и знание, созерцание и разум.—**С. Л. Аскольдов:** Аналогия, как основной метод познания.—**Л. П. Карсавин:** О свободе.—**О. М. Котельникова:** Учение о непосредственном знании в философии Якоби.—**В. Э. Сеземан:** Эстетическая оценка в истории искусства.

Некрологи.—Критика и библиография.—Хроника.

В ближайших номерах будут между прочим напечатаны следующ. статьи **А. И. Введенский:** Судьбы веры в Бога.—**Э. Л. Радлов:** Русская философия XVIII века.—**Л. П. Карсавин:** О зле.—**Его-же:** Мираж прогресса—**Ф. Ф. Зелинский:** Психология и ритмика художественной речи.—**А. Л. Саккетти:** Философия Когена.—**Н. О. Лосский:** Конкретный и отвлеченный идеал-реализм (окончание).—**К. М. Миларадович:** Нужна ли метафизика? и друг.

2-й номер (март-апрель) выйдет в конце апреля месяца.

В журнале помещаются платные об'явления из расчета по 30 золотых рублей (по официальному курсу) за страницу.

Контора и редакция журнала помещается при книжном магазине Петербургского Философского Об-ва Петроград, Литейный пр. 40.

ТРУДЫ

Петербургского Философского Общества.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:

I. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ТВОРЕНИЙ **Платона.**
Новый перевод членов Философского Общества под общей редакцией **Ф. Ф. Зелинского** и **Э. Л. Радлова.**

II. ИЗБРАННЫЕ ТВОРЕНИЯ **Николая Кузанского.**
Перевод **Л. П. Карсавина, С. Л. Франка** и **А. А. Франковского.**

III. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ **Скотта Эригены.**
Перевод **Л. П. Карсавина.**

IV. МЕТАФИЗИКА **Аристотеля.**
Перевод под редакцией **Э. Л. Радлова.**

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

1. Проф. **Ф. Ф. Зелинский.** Религия Эллинизма.
2. Акад. **В. Н. Перетц.** Краткий очерк методологии русской литературы.
3. Проф. **Ф. Ф. Зелинский.** Из жизни идей, т. IV, „Возрожденцы".

ПЕЧАТАЮТСЯ:

Проф. **Н. О. Лосский.** Обоснование интуитивизма. 3-е переработ. издан.

Отдел точных наук.

Проф. **Б. М. Коялович.** Курс аналитической геометрии.
Дженокки-Пеано. Курс дифференциального и интегрального счисления (перевод **К. А. Поссе**).